

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 10



Главный редактор – Александр ГЛЕЗЕР

Зам. гл. редактора Игорь БУРИХИН

Ответственный секретарь – Наталья АНДРЕЕВА

На первой странице обложки
портрет

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"
МОНЖЕРОН-ДЖЕРСИ-СИТИ
сентябрь 1980

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома

Price in U.S.A. \$6.50 Per Copy

Цена номера 26 фр. франков
пересылка за счет подписчика.

Рукописи направлять по адресу :
M. Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron, France

Все права на издание принадлежат альманаху
« Третья волна »

© By « The Third Wave »

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Двадцать пятого июля из Москвы пришла горестная вестъ: умер большой русский поэт, поэт и бард, Владимир Высоцкий. Его песни пела вся Россия - диссидентская и армейская, студенческая и рабочая, ученая и крестьянская, молодая и старая. Его песни облетели весь мир. И в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Риме, Лондоне, Иерусалиме, Вене, Берлине, Стокгольме... их пела Россия зарубежная. Она пела его песни, песни, поистине написанные книжками и кровью, песни, полные глубинной любви к России, неиссякаемой веры в нее и пронзительной боли за нее, изнасилованную коммунистическими оккупантами.

Владимир Высоцкий - умер, но куда жива Россия - будут жить его песни.

Александр Глезер
26 июня 1980

В Новогоднюю ночь 1980 мы оказались с Володей в одном доме. Он был трезв и веселился грустновато. На следующий день, мчась по гололеду, вдребезги разбил свою скоростную машину. Второе крушение за полгода. Какая уже по счету реанимация? "Косая ходит за мной по пятам", - сказал он мне однажды. Через минуту правда, смеялся, а еще через минуту, предложал безвозмездно тысячу рублей.

Миф, идол всей России, любимец художественной Москвы... Поистине катастрофный парень... Почему мне довелось узнать о его кончине в городе, который он называл Парижск? Из телефона-автомата на Ситэ... Вот тебе и выгоды прямой связи с Москвой. Если бы ее не было, еще до вечера Володя был бы для меня жив.

Крошечное утешение - все-таки это мы, "Метрополь", первыми в России опубликовали его песни и стихи, предъявили миру самобытность его поэзии. Сегодня я молился о нем в Соборе Сан Стальтис.

Господи, упокой душу нашего любимого и благородного друга!

Василий Аксенов
26 июля 1980

Злой рок русской поэзии: за редким исключением все сколько-нибудь значительное погибает, едва успев расцвести. Этой трагической участи не избежал и Владимир Высоцкий - артист, поэт, композитор - редкостного и неповторимого дарования.

Но и не доиграв, недопев, недописав, он оставил нам так много, что о нем еще долго невозможно будет сказать "был". Он - "есть". Во всяком случае до конца нашего поколения.

Владимир Максимов
27 июля 1980

Ушел из мира великий Бард. Из моей жизни ушел навсегда Великий Человек, мой самый близкий друг. Большое сердце и светлая, благороднейшая душа, перед которой я всегда преклонялся.

Сегодня каждого, в ком живет Россия, постигло горе. Прощай мой друг, брат, близкий и любимый человек. Прощай, Володя.

Миша Шемякин
Париж, 28 июля 1980

Владимир ВЫСОЦКИЙ

купола

*Михаилу Шемякину –
эта песня о России*

Как засмотрится мне нынче, как задьшится?
Воздух крут перед грозой, крут да вязок.
Что споется мне сегодня, что услышится?
Птицы вестие поют, да все из сказок.

Птица Силин мне радостно скалится,
Веселит, зазывает из гнезд.
А напротив тоскует, печалится,
Травит душу чудной Алконост.

Словно семь заветных струн
Зазвенели в свой черед –
Это птица Гамаюн
Надежду подает.

В синем небе, колокольнями проколотом,
Медный колокол, медный колокол
То ль возрадовался, то ли осерчал.
Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал.

Я стою, как перед вечною загадкой,
Пред великою да сказочной странюю,
Перед солоно – да горько-кисло-сладкою
Голубою, родниковою, ржаную.

Грязью чавкая, жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремяна,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна.

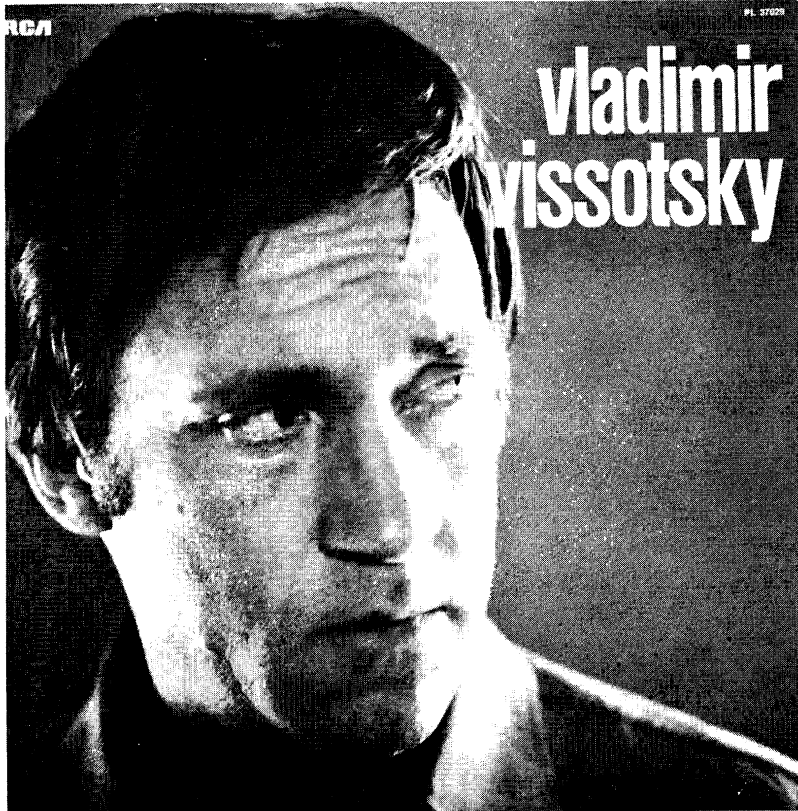
Словно семь богатых лун
На пути моем встает –
То мне птица Гамаюн
Надежду подает.

Душу, сбитую утратами да тратами,
Душу, стертую перекатами,
Если до крови лоскут истончал,
Залатаю золотыми я заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал.

RCA

PL 37029

vladimir vissotsky



* * *

Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому
по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.
Что-то воздуха мне мало, ветер пью,
туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом – пропадаю,
пропадаю.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить не успеть, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою, хоть
мгновенье еще постою на краю ...

Сгину я, меня пушинкой ураган сметет
с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по
снегу утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои
кони,
Хоть немного, но продлите путь к
последнему приюту.

Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою, хоть
мгновенье еще постою на краю ...

Мы успели, в гости к Богу не бывает
опозданий.
Но что там ангелы поют такими злыми
голосами?
Или это колокольчик весь зашелся от
рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так
быстро сани?

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались привередливые,
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою, хоть
мгновенье еще постою на краю...

* * *

Уходим под воду в нейтральной воде,
Мы можем по году плевать на погоду,
А если накроют, локаторы взвоят
О нашей беде.

Спасите наши души, мы бредим от удушья.
Спасите наши души, спешите к нам.
Услыште нас на суше. Наш СОС все глуше,
глуше,
И ужас режет души напополам.

Услышьте нас на суше. Наш СОС все глуше,
глуше,
И ужас режет души напополам.

Вот вышли наверх мы, но выхода нет.
Вот "полный на верхви!" Натянуты нервы,
Конец всем печалям, концам и началам,
Мы рвемся к причалам вместо торпед.

Спасите наши души, мы бредим от удушья.
Спасите наши души, спешите к нам.
Услышьте нас на суше. Наш СОС все глуше,
глуше,
И ужас режет души напополам.

ПОЛЕМИКА

ХОТЬ БЫ КТО ОБЪЯСНИЛ

(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

Недавно мне попала в руки "Литературная газета" за 9 апреля нынешнего года. В ней я прочитал рецензию кандидата исторических наук Б. Баннова на книгу другого советского историка Н. Яковлева "ЦРУ против СССР". Оказывается, Яковлев, "привлекая обширные материалы, умело анализируя факты, последовательно воссоздает картину многолетней работы агентов ЦРУ с литературным власовцем Солженицыным". И далее выясняется, что "знатоки диверсионных наук, "литераторы" и "ученые" из ЦРУ в поте лица трудились над его сочинениями, которые не имели ни малейшего отношения к литературе". Более того, "Яковлев предметно показывает, как ЦРУ превращало Солженицына в своего агента влияния", а затем "организовало Солженицыну Нобелевскую премию, используя этот раздутый авторитет для воздействия на общественное мнение". Ознакомившись с сочинением Баннова, я вспомнил еще об одном авторе — заместителе главы госбезопасности СССР Цвигуне. Он со страниц журнала "Коммунист" тоже объявил Солженицына, а также Максимова, Буковского, Амальрика, Плюща и академика Сахарова агентами ЦРУ, так сказать, врагами но-

мер один. Тут уж я невольно вспомнил и о том, каким бесчисленным и яростным атакам подвергались последнее время Солженицын и Максимов в немецкой, французской, американской леволиберальной прессе, которой старались не уступать и кое-какие русские зарубежные издания. Насчет левой западной прессы особых вопросов нет — она, видимо, ни что иное как рупор напуганных сторонников детанта любой ценой. Все мы, оказавшиеся на Западе, к сожалению, заметили, что их более, чем достаточно, и немало среди них людей с влиянием и деньгами. Это и понятно. За десять лет детанта здесь сложился поистине новый класс, плотью и кровью связанный с СССР. Этот класс включает в себя промышленников и бизнесменов, лидеров некоторых партий и профсоюзов, профессоров-славистов, ученых, артистов, писателей, журналистов... Для подобных людей диссиденты и олицетворяющий их в западном сознании Солженицын стоят поперек горла. И это тоже понятно: приехали и рушат милый сердцу и карману детант. Но непонятно, отчего так упорно определенная группа эмигрантов—"интеллектуалов" с пеной у рта доказывает, что Солженицын опасен для России. Они выступают в западной прессе с заклинаниями против "русского айтиоллы", они предрекают, что идеи Солженицына приведут к новому Гулагу, они обливают грязью Максимова, осмелившегося в "Саге о носорогах" поднять руку на безответственных представителей западной элиты. С точки

зрения наших пророков и вещунов главная опасность для России и всего мира – не экспансивный коммунизм, а русский национализм. Они, в частности А. Янов, Е. Клепикова, В. Соловьев, точно знают о существовании мощной русской партии, охватывающей как неофициальные, так и официальные круги советского общества. Среди членов этой партии они числят и писателей, и философов, и генералов, и даже некоторых членов Политбюро, которым идеи Солженицына и русского национализма очень на руку. А потому Янов и компания травят Солженицына и русский национализм почище советской прессы, доказывают, что советский режим – всего лишь естественное продолжение царского и уверяют, что надо держаться за детант руками и ногами, поддерживая здоровые силы первой страны социализма. Неясно лишь малое: почему мощная русская партия допускает, чтобы такие убежденные русские националисты, как Огурцов и Осипов (не говоря уже о менее заметных фигурах), получали гигантские сроки и томились в лагерях. Почему она допускает погромные статьи и книги против главного своего идеолога Солженицына? Ну, ладно, ну, допустим, хоть партия сия и мощна, но все же еще не достаточно, чтобы защитить своих. Но отчего же не стукнуть тогда хотя бы и этих вроде бы антисоветчиков, однако явных чужаков-западников Янова и Шрагина, Эткинда и Соловьева... Нет, не стучают. Будто не замечают. Кое-кто из жен этих антисоветчиков даже умудряется ездить в

Советский Союз и обратно. Упаси Бог, я никого не обвиняю в сотрудничестве с КГБ. Я только констатирую наличие удивительных фактов. А как их объяснить - не знаю. Впрочем, может, подойдет такое простое объяснение: каким-то действительно влиятельным, а не мифическим русским силам очень нравится тот раскол, который вносят в русскую эмиграцию вышеупомянутые господа, тем более, что все они (очаровательное совпадение!), как и вожди СССР, за детант. Янов, например, считает, что давать кредиты СССР следует, только "не брежневским чиновникам из министерства внешней торговли, а непосредственно - конкурентам и оппонентам Русской Новой Правой, крупным производственным объединениям, центрам мощи среднего менеджериального класса. Тем самым, - поясняет Янов, - мы придавали бы им новый вес и новый статус, самой логикой вещей выводили бы их на политическую орбиту..."

Может, какие-то наивные западные советологи таким басням и поверят. Но мы-то, приехавшие из СССР, как и Янов, знаем, что никаких независимых производственных объединений и менеджеров там не существует. Кредиты можно давать лишь советской власти, а уж ее вожди распределяют все как надо. И хороши бы они были, отчаянные властолюбцы, если бы позволяли кредитовать кого-то через свою голову, плодя таким образом экономически не зависящих от режима людей и производственные единицы. Неужто Янову это не ясно? Как-то не ве-

рится. Он просто опрокидывает на слушателей и читателей бесчисленное число доводов и выводов, нимало не заботясь о странной логике своих построений. Янов цитирует Солженицына: "я рассчитываю на ту степень просвещения, которая... не могла не распространиться в сферах военных и административных... Ведь Народ — это не только миллионные массы внизу, но и отдельные представители его, занявшие ключевые посты. Есть же сыны России и там. И Россия ждет от них, что они выполнят свой сыновний долг... Я хорошо помню наше офицерство 2-ой мировой войны, сколько пылких честных сердец кончало ту войну, и с порывом устроить, наконец, жизнь на родине. И я не могу поверить..., чтоб они или их наследники были равнодушны к ужасной судьбе, которую готовят нашей родине..." Прочитывая, Янов восклицает: "Не ясно ли после этого, за что Солженицын? Он — за черных полковников". Спрашивается, при чем тут черные полковники? Явно ни при чем. Но разве Янова интересует правда? Он создает мифы, не очень-то о ней думая.

Не видно, чтоб стремились к истине и соратники Янова, вышедшие на тропу войны с Солженицыным и Максимовым. Поводом, но лишь поводом, к нападению на последнего послужила его "Сага о носорогах". Удивительное дело, антимаксимовцы будто и не заметили, что весь пафос этой вещи направлен против тех, кто сознательно или бессознательно способствует разоружению Запада перед коммунистической

угрозой, перед агрессивным и коварным тоталитаризмом, равного которому не было в истории человечества. Нет, они бросились разгадывать, кто есть кто в максимовском памфлете, силясь внушить нам, что Максимов нападает на достойных людей. Но ведь тысячи обыкновенных нормальных читателей ничего разгадывать не будут. Читатель — не дурак, и о чем и для чего написана "Сага" — понимает. А о ком? Вот в прошлом году всю ночь я беседовал с профессором из Сорбонны. "Советские танки и американские банки" — одно и то же, — повторял он, небрежно отмахиваясь от фактов. "Архипелага" он не читал и читать не желает. "А почему, — спрашиваю я его, — французские левые студенты с таким воодушевлением демонстрируют против Пиночета, а когда эфиопские марксисты расстреливают демонстрацию своих студентов, их французские коллеги молчат. И левая пресса молчит?" Профессор в ответ только снисходительно улыбался и твердил что-то о происках Си-Ай-Эй. А вот книга Джона Баррона "КГБ" ему неинтересна. Как же не назвать этого профессора носорогом! Это ведь он и ему подобные воспитывали Пол Пота! Это он и ему подобные растлевают сознание французской молодежи. И оказывается, ни этих носорогов, ни их немецких, скажем, коллег по новому классу, будь они промышленники или политики, трогать нельзя, они неприкосновенны. Максимов написал, что некий немецкий политик не что иное как "Перековавшийся на голубя мира ястреб хо-

лодной войны". А профессор Эткинд, прочитав эти строки, приходит в ужас и негодует. Да почему? Что случилось? Мы же прекрасно помним, как этого самого политика, когда он был бургомистром Западного Берлина, советская пресса клеймила именно рыцарем, ястребом, коршуним холодной войны. И мы знаем, что он действительно перековался, и его ныне с удовольствием цитируют газеты "Правда" и "Известия". Он и ведь и за детант любой ценой. Он против перевооружения Европы. Он, душка, "не считает возможным" выступить в защиту Сахарова. Неужто профессор об этом не ведает? Ведает, ведает! Но надо же стукнуть заклятого Максимова.

Размеры газетной статьи не позволяют мне дальше цитировать ни Эткинда, ни Янова, ни Шрагина, ни Клепикову... Да и стоит ли? Мне кажется, и так все ясно, как ясно, почему именно сейчас всем этим людям стала охотно предоставлять место западная пресса. Каждому понятно, что распри русской эмиграции вряд ли эту прессу могли заинтересовать. Но товар антисолженицынского и антиконтинентовского толка выходит за рамки русских распрей. Это то, что нужно новому классу и его прессе. Владимир Буковский в связи с этим весьма точно заметил: "Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына или "Континента," сразу же найдет мировую прессу вкупе с почетным званием писателя-диссидента Советского Союза". Ситуация поистине печальная. И вот что стран-

но: ну, хорошо - Шрагин, Янов, Клепикова. Однако ведь писатель и литературовед Андрей Синявский давным-давно свое имя на Западе утвердил. Чего же ему так нейдет? Он не только пишет, не только выступает, не только дает антисолженицынские и антимаксимовские интервью. Он даже создал журнал ("Синтаксис"), который, можно сказать, стал центром по защите нового западного класса, защите деганга любой ценой, центром, объединившим всех, кто уверяет, что главная опасность для России и Западе - не коммунизм, а русский национализм и советский антисемитизм.

Я надеюсь, что меня никто не заподозрит в антисемитизме и русском национализме. Но я люблю Россию и знаю, что та сила, которая поработила ее и все народы бывшей Российской империи, а ныне уже утверждается в Азии, Африке и Америке, никакого отношения к русскому империализму не имеет. Тоталитарный, коммунистический Советский Союз, новая, невиданная цивилизация, созданная на одной шестой земного шара на основе идей марксизма-ленинизма и неуклонно расплзающаяся по свету, - вот единственная сила, угрожающая человечеству. И тот, кто пытается представить дело по-иному, тот, кто, игнорируя факты, запугивает мир русской опасностью и русской айтиологией Солженицыным, совершает как раз то, что нужно советским вождям. Им нужно, а вот Синявскому и тем, кто с ним, - зачем? Хоть бы кто объяснил.

Александр Глезер

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Василий АКСЕНОВ

ДЕРЗКИЙ ГОСТЬ

РАССКАЗ

Вместо эпиграфа:

Отделение ВАО "Интурист", Орёл, ул. Московская, 169, мотель "Шипка".

Выписка из правил внутреннего распорядка для проживающих в гостинице.

1. Гостиница предназначена для проживания и обслуживания иностранных туристов, членов иностранных делегаций и других иностранных граждан. При возможности номера в гостинице предоставляются и советским гражданам, но без гарантии предполагаемого срока проживания.

2. Проживающий обязан:

а) соблюдать чистоту и порядок в номере и в гостинице.

б) При уходе из номера закрыть окна, водопроводные краны, выключить свет, радио, телевизор и сдать дежурному ключ от номера.

3. Посторонние лица могут находиться в номере только по просьбе проживающего с ведома администрации гостиницы с 8 до 23 часов.

4. Проживающим НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- а) петь и играть на музыкальных инструментах с 12 часов ночи до 10 часов утра, включать на полную мощность радиоприемник и телевизор, а также производить какой-либо другой шум, мешающий отдыху других проживающих;
- б) оставлять в номере в своё отсутствие без разрешения администрации посторонних лиц, а также передавать ключи от номера;
- в) хранить в номерах громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся материалы;
- г) пользоваться всякого рода нагревательными приборами;
- д) держать в номере животных и птиц;
- е) не производить самостоятельно устранение неисправностей электрооборудования.

5. Проживающие должны бережно относиться к имуществу и оборудованию гостиницы, строго соблюдать правила пожарной безопасности, ни в коем случае не курить, лежа в постели, в общих коридорах, гостиных, холлах.

При пожаре немедленно звонить дежурному администратору и сообщить дежурной по этажу.

6. За несданные на хранение деньги, ценные бумаги и вещи, администрация гостиницы в случае их пропажи ответственности не несет.

7. Проживающий несет материальную ответственность в случае порчи или утери им или приглашенным им лицом имущества гостиницы.

8. В случае нарушения правил внутреннего распорядка гостиницы проживающий подлежит выселению из гостиницы в административном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Вместо рассказа:

1. Я приехал в мотель "Шипка" и, раздвинув толпу иностранных туристов, членов иностранных делегаций и других иностранных граждан, подошел к стойке администрации, вынул свою краснокожую паспортину и получил номер. Учтите, сказал я администрации, немедленно уеду от вас, если не будет предоставлена гарантия предполагаемого срока проживания.

2. Конечно, я вовсе не считал себя обязанным:

а) соблюдать чистоту и порядок в номере и в гостинице и не соблюдал их.

б) при уходе из номера я открывал все окна и водопроводные краны, включал и свет, и радио, и телевизор и никогда не сдавал ключа дежурному (дежурной) по этажу, хотя он (она, оно) иногда просил (просила, просило).

3. Посторонние лица обычно находились у меня без всякого ведома администрации с 23 до 8 часов, иногда и больше.

4. Кажется, и в самом деле проживающим НЕ РАЗРЕШАЛОСЬ, но я:

а) пел и играл на музыкальных инструментах с 12 часов ночи до 10 часов утра, вклю-

чал на полную мощность радиоприемник и телевизор, а также производил какой-либо другой шум, мешающий отдыху других проживающих.

б) оставлял в номере в свое отсутствие без разрешения администрации посторонних лиц и передавал им ключи от номера.

в) хранил в номере громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся материалы.

г) пользовался всякого рода нагревательными приборами.

д) держал в номере животных и птиц.

е) производил самостоятельно устранение неисправностей электрооборудования.

5. Ни разу не заметил за собой бережного отношения к имуществу и оборудованию гостиницы или строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Курил я всегда лёжа в постели, на худой конец, в общих коридорах, гостиных, холлах.

Когда начинался пожар, я, конечно, нигде не звонил, а спокойно наслаждался этим зрелищем.

6. Ежедневно я требовал от администрации ответственности за несданные на хранение деньги, ценные бумаги и вещи.

7. Сам я, разумеется, отвергал всякую ответственность в случае порчи или утери мной или приглашенным мной лицом имущества гостиницы, а такое, к прискорбию моему, случилось.

8. С первого же дня я категорически отка-

зался от выселения из гостиницы в административном порядке в случае нарушения мной правил внутреннего распорядка.

Так я проживал в мотеле "ШИПКА" день за днём, месяц за месяцем. Жители Орла, орловитяне, приезжали посмотреть на меня, а иностранные туристы, члены иностранных делегаций и другие иностранные граждане робко спрашивали, "ху из хи?" - кто, мол, таков.

- Это Иван Петрович Сидоров, наш ДЕРЗКИЙ ГОСТЬ, - уважительно отвечала администрация.

Вот и правильно - пусть уважают!

Алексей СЕМЕНОВ

* * *

как хорошо
как хорошо быть деревом

беседовать с другими деревьями
любоваться своими листьями
шептаться с ветром проньюрой
греться на солнышке и считать звезды по
ночам

и думать о том
что впереди долгая интересная жизнь
в которой ты можешь стать кем угодно
домом
спичкой
бумагой
все эти возможности заключены в тебе
ты ждешь и торопишь
скорей бы

как тяжело
как тяжело становиться домом
спичкой
бумагой
всегда неожиданно приходит пила
остаётся пень как память о прошлом
больше никогда не увидишь своих листьев
пилят строгают рубят вбивают гвозди

можно
говорить чужие слова
каждый вечер
заранее зная ответы
можно
любить чужих женщин
каждый вечер
о них забывая
можно
прожить чужую жизнь
каждый вечер
начать все сначала

но нельзя
говорить чужие слова
если своих
среди них не отыщешь
нельзя
любить чужих женщин
если свою
в них не увидишь
нельзя
прожить чужую жизнь
если своей
за нее не заплатишь

эти можно
и эти нельзя
каждый вечер
смотрят из зала

1976

Сергей ДОВЛАТОВ

СОЛДАТЫ НА НЕВСКОМ

Рано утром на плацу капитан Чудновский высказался следующим образом:

- Кто шинель укоротит хотя на палец - будем взыскивать!

Он задумался и добавил как-то совсем не по-военному:

- Притом это не модно, если верить журналу "Силуэт"...

У ефрейтора Гаенко шинель была обрезана, подшита, но все равно из под нее едва виднелись ослепительно начищенные яловые сапоги.

Стоял ефрейтор Гаенко в шеренге последним. Он, и только он на вечерней проверке, делая шаг вперед, задорным голосом восклицал:

- Рассчёт окончен!

Друг его, ефрейтор Рябов, как это нередко случается, был противоположностью Гаенко. Высокий, медлительный и сильный, он жутко тереялся от крика, а всех людей со звездами на погонах спокойно искренне боготворил.

Любовные истории, которые Гаенко рассказывал после отбоя, волновали ефрейтора Рябова, открывая перед ним, уроженцем глухой Боровлянки, таинственный мир с красивыми вдовами, ночными поездками в такси, умелыми драками, загадочными нежными словами: декольте, будуар, гонорея...

Ефрейтор Рябов уважал приятеля и часто будил его ночами, тихо спрашивая:

— Это верно, Андрюха, есть такая птичка — колибри, размером с чмеля?..

У Рябова было суровое детство, но Васька так и остался покладистым человеком. Отец его, мрачный боровлянский конюх, наказывал Ваську своеобразно. Подвешивал за ногу к ветке дерева...

В армии Рябову нравилось. Он гордился своим хлопчатобумажным тряпьем. Усердно козырял сержантам. И с натугой, однако без ленности преодолевал солдатское ученье...

Ефрейтор Гаенко вырос среди пермской шпаны, где и приобрел сомнительный жизненный опыт, истерическую смелость и витиеватый бластной оттенок в разговоре.

Наука давалась ему легко, с сержантами он был на ты, одежду свою без конца перешивал и любил смущать замполита каверзными вопросами:

— А вот отчего, к примеру, в той же сэшэа каждый чучмек автомобиль имеет, а у нас одни доценты, генералы и ханурики?

Рябову часто шли посылки, и ефрейтор охотно делился с другом, которому мать, нянечка

детского сада, только писала да и то изредка:

"Может, ты в армии станешь на человека похож. А то совсем не знаю, что и делать. Так и сказала майору в военном комате: или он будет человеком, или держите его под замком. Боюсь я за тебя, Андрюша, повис ты надо мной, сынок, как домкратов меч..."

Начальство ценило в Рябове послушание, а Гаенко многое прощалось за ум и так называемую смекалку. Как-то раз Гаенко напился, уронил питьевой бачок и обозвал сержанта Куципака генералиссимусом. Его вызвали на комсомольское собрание дивизиона...

- Обещаю, - сказал чуть не плача ефрейтор, - обещаю, товарищи, больше не буду. Пить больше не буду!

Потом он сел и тихо добавил:

- И меньше тоже не буду.

И все-таки его любили. Если Рябов внушал к себе почтение, то Гаенко любили, любили за остроумие, за какую-то вздорную блатную независимость, за веселый нрав, а главное - за его умение рассказывать истории, которое высоко ценится на Руси, потому что скрашивает будни.

Клеймит наш народ болтунов и лоботрясов, славословит дельного и неразговорчивого человека, но вот какой-нибудь чудак на стройке или в цехе вытирает руки паклей, закуривает и тихим голосом заводит речь:

- А вот у нас был случай в прошлом году, так пил один в лесу из родника, и в голову

ему личинка жабы просочилась, стала натурально жить, расти за счет его мозг, а у того головные боли начались — это страшное дело, врачи, значит, трепанацию ему сделали и видят — жаба, белая, как калач, потому что она, блядища, без хлорофила росла...

И вот уже протягивают болтуну и лентяю портсигары, улыбаются: "ну и трепло", а ведь слушают, хохочут, и каждый в гости зовет...

Друзья служили под Ленинградом четвертый месяц, но в увольнении были раз да и то в поселке, до Эрмитажа ехать времени не хватало бы, на три часа всего отпускали. Час дорога туда, час — назад, а на остальное не разгуляешься, зато поселок вот он, близко, и клуб с репродуктором, и велосипеды, прислоненные к соснам у входа, и хмурые парни в шелковых кашне, и девушки в брюках, которые с солдатами танцевать отказываются...

На этот раз пустили с утра до отбоя.

В десять часов Гаенко и Рябов уже шагали к переезду, и каждый из них сжимал в кармане заполненный бланк увольнительной.

Мрачные, без окон, склады и пакгаузы не сдерживали порывов осеннего ветра, который гонял по пустырям омертвевшие листья, бумажки и сор, образуя тут и там крошечные случайные водовороты. Трубы цементного завода четко выделялись на фоне бледного невидимого неба, их параллельные стволы казались такими надежными среди всей этой зыбкой и потускневшей осенней природы. Над мокрыми крышами покачивались

бедноватые сентябрьские кроны, и сами крыши выглядели мрачно, в сыром их блеске не было утренних красок...

Гаенко и Рябов вышли на платформу и стали под часами.

- Ну, куда пойдём? - спросил ефрейтор Рябов.

- Программа такова, - ответил друг его, - сначала - естественно - Эрмитаж, потом - Медный всадник, дальше, значит, Петропавловская крепость, и под конец - Третьяковская галерея.

- За день столько всего?

- Нормально. Мы особенно вдаваться не будем. Раз, сфотографировано и дальше... Так, для общего развития.

- Неплохо бы с девушками познакомиться, - мечтательно произнес Васька Рябов, - со студентками.

- Это бы да, - согласился Гаенко, - взяли бы маленькую или там шартрезу, пошли бы к ним в общежитие...

- Студентки белое и пить-то не станут, - высказал предположение Рябов.

- Что!? - обиделся за студенток Гаенко, - да они его ведрами хлещут, на лекцию не идут, покуда не опохмелятся.

- Уж ты скажешь, - не поверил Рябов.

- Да я, - расшумелся Гаенко, - да у меня этих студенток навалом было, штук пятьдесят как минимум.

- Пятьдесят? - испугался Рябов.

- Ну, пять, - сжалился Гаенко, - ей Богу, Эмкой звали, газотопливный техникум кончала, на сплошные пятерки шла...

Билеты они покупать не стали, зато честно поехали в тамбуре. Стекла были выбиты, холодный ветер мешал им прикурить. Напротив двери сидела девушка в забавной вязаной шапке, но когда Васька начал любоваться красным помпоном, она сразу достала из сумки книгу и углубилась в чтение.

- Кокетничает, - установил Гаенко, - привлекает. Действуй, Вася, не робей.

Но Рябов действовать не стал, да и не имел он этого в виду, просто ему нравилось смотреть на девушку, и он смотрел, как она читает, пока электричка не замерла у перрона Московского вокзала.

Друзья оказались в толпе, сразу потеряв девушку из виду, а затем Гаенко вытащил карту и пытался развернуть ее на ветру, как парус.

- Так, - сказал он, - это Невский, а тут, значит, река. Пешком, я думаю, надо идти, тут недалеко.

Андрей ткнул в карту растопыренными пальцами.

- Так. Масштаб - один к десяти тысячам. Это значит... это значит... В общем, тут километра два...

В этот сумрачный день толпа на Невском оказалась пестрой, как и бесчисленные витрины, разноцветные автомобили, непохожие друг на

друга дома. Гаенко то и дело разворачивал карту, огромную, как пододеяльник.

- Так, - говорил он, - это Фонтанка, а мы вот тут находимся. Тут мы, Васька, стоим. Понял?

- Чудеса, - охотно поражался Рябов.

Таких красивых девушек, как здесь, на Невском, ему доводилось видеть лишь в заграничном фильме "Королева Шанте-Клера". Высокие, тонкие, нарядные, с открытыми смелыми лицами, они шли неторопливо, как пантеры в джунглях, и любая обращала на себя внимание в густой и непроницаемой, казалось бы, толпе.

Рябов глазел на девушек, пока тощий майор не сделал ему замечание:

- Здраваться надо, ефрейтор!

- Так точно. Виноват...

- ...товарищ майор.

- Виноват, товарищ майор!

- Вашу увольнительную!

- Разрешите обратиться, - вмешался переминавшийся с ноги на ногу Андрей Гаенко, - товарищ майор, как нам в Эрмитаж попасть?

Лицо майора несколько смягчилось.

- По Невскому до конца и через площадь. Который год служите?

- Первый, товарищ майор.

- Ну так еще встретимся. А сейчас - идите.

- Спасибо, товарищ майор, - проникновенно выкрикнул Гаенко и, уже ни к кому не обращаясь, добавил: Красивый город! Я бы даже так выразился: город - музей.

- Эх ты, - сказал Гаенко другу, когда опасность миновала, - так ведь и на "губу" угодить недолго. А ловко я его про Эрмитаж спросил? Тут, брат, психология. Человеку нравится, когда ему вопросы задают. У меня в Перми такой был случай. Заловили меня раз урки с левого берега. Идут навстречу, рып пятнадцать с велосипедными цепями, а сзади тупик, отвал сыграть некуда. Один уже замахиваться начал. Амбал с тебя ростом, пошире в плечах. Тут я ему и говорю: "Але, не знаешь, как наши со шведами сыграли?". Молчит. Руку опустил. Потом отвечает: "Три - два". "В нашу, что ли, пользу?". "Да нет, - говорит, - в ихнюю". А уж после этого и бить человека вроде бы неприлично. Короче, спасла меня психология. Отошел я метров на двести, изматерил их от и до и бегом на правый берег...

С этой минуты Рябов уже не глядел на девушек, а только на офицеров, которых ему и в подразделении хватало...

Эрмитаж Ваську разочаровал, по крайней мере - снаружи. Ему казалось, что дворец непременно должен быть сложен из цельных мраморных глыб, увенчан золоченым куполом и шпилем, а этот, в принципе, не отличался от любого дома на Невском, разве что, был втрое шире и стоял на виду.

Они скинули шинели. Затем, нацепив шлепанцы, изменившейся походкой двинулись вверх по широкой мраморной лестнице.

Интерьеры Васька одобрил. Сперва он разглядывал драгоценности, медали, оружие, полустлевшие знамена, но вдруг Андрей Гаенко зашептал:

– Идем, я тебе одного Рембрандта покажу, вот это художник. Там у него голая баба нарисована до такой степени железно, что даже не стойт... Факт из религии подобран...

– Обнаженная? – с натугой и сомнением переспросил Рябов.

– Да голая, я тебе говорю. Пошли.

К "Даная" Васька подойти не решился, стоял у окна и глядел на нее тайком. Но поразило Ваську другое. Девчонки, молоденькие, в очках, гуляют по залам, не отворачиваются и спокойно глазают на раздетых каменных мужиков. Даже беседуют о чем-то, вроде бы обсуждают...

"Взбесились городские окончательно, – думал Васька Рябов и тут же мысленно прибавлял, – вот бы с такой бесстыжей познакомиться..."

В Эрмитаже они пробыли час. Потом Гаенко заявил:

– Ну, все. Главное мы ухватили. Обедать пора.

Денег у них было много, две нетронутых поллучки, то есть – семь шестьдесят.

К этому времени погода изменилась. На серой ткани неба разошлись какие-то невидимые швы, и голубые отмели возникли тут и там, будто тронулся лед на реке, и блеснула вода под солнцем среди шершавых льдин...

Они подошли к столовой, внимательно изучили меню на фасаде и начали было снимать ремни, но тут Андрей Гаенко заявил:

- Пошли отсюда. Самообслуживание мне и в казарме надоело.

Через двадцать минут они сидели под люстрой за столиком, на котором помимо солонки, перечницы, блюдечка с горчицей и забытого стакана, лежал измятый клочок папиросной бумаги с расплывшимся, плохо отпечатанным текстом. Васька Рябов смущенно ёрзал, ударяя то и дело латунной бляхой по краю стола. Гаенко нетерпеливо оглядывался. Подошла официантка с унылым лицом, в стоптанных домашних туфлях и с пятнами ржавчины на фартуке. Она стояла молча, держа в руке крошечный блокнотик, утомленно ждала.

- Так, - сказал Гаенко, - три антрекота для начала.

- Кончились, - еле слышно произнесла женщина и снова замолчала, видимо, совершенно обессилев.

- Тогда, - сказал Андрей, розовея и приподнимаясь, - тогда, - выговорил он с отчаянным размахом, - тогда давайте жареной картошки с чем-нибудь!

- Биточки? - вяло предложила официантка.

- Да, - сказал он, - пять биточков!

- Пять порций? - уточнила официантка.

- Да, и еще пива. Две бутылки. Три. И пачку "Казбека"!

- Гуляем, значит? - шепнул восхищенно Рябов.

Вернулась официантка с подносом.

— Биточки с макаронами, — выговорила она.

— Годится, — снизошел Андрей.

Они ели медленно, курили, выпившие посетители заговаривали с ними, Гаенко шутил, даже чокнулся с кем-то раза два, и так все это было непохоже на казарменную столовую с голубыми клеенками и репродуктором в углу, где все едят торопливо и невнимательно, а вышел через пять минут и кто-нибудь спросит тебя: "Что давали на ужин?", а ты и не помнишь то ли рыбу, то ли кашу...

— Три двадцать, — холодно произнесла официантка.

— Четыре, — Андрей разжал кулак с приготовленными заранее измятыми бумажками, — держите четыре, — в голосе его появились угрожающие нотки, — и сдачи не надо!

Стало прохладнее. День остывал. Друзья перешли Аничков мост, чуть замедлив шаги у ограды. Над крышей лодочной станции трепетал застиранный бледно-розовый флаг. Тесно прижатые бортами лодки веером расходились от серого дощатого пирса.

— Были бы у нас знакомые студентки, — говорил Васька Рябов, — можно было бы на лодке покататься...

Они прошли метров двести по Невскому, свернули на Литейный, остановились возле тира. Стойка была покрыта истертой ковровой дорожкой. Четыре лампы под жестяными козырьками ярко освещали противоположную сторону. Там бы

ли укреплены фигурки, грубые, аляповатые, рябые от пуль. Они то и дело переворачивались, повисали вверх ногами, на месте жирного империалиста в цилиндре выростал фиолетовый негр со сжатыми кулаками, львы прыгали через обруч, лопасти мельницы сливались в ровный блестящий круг, а когда флотский мичман всадил пулю в едва различимую белую точку, сначала раздалось шипение, а потом зазвучали слова довоенной песни:

*В запыленной связке старых писем,
Мне недавно встретилось одно,
Где строка, похожая на бисер,
Расплылась в лиловое пятно...
Что же мы тогда не поделили,
Разорвав любви живую нить...*

- А! - сказал хромой начальник тира, - вот служивые покажут, как нужно стрелять.

- Это же не боевое оружие, - возразил Андрияха, - из боевого я бы показал, а тут все мушки сбиты и траектория, как у футбольного мяча...

Друзья облокотились на стойку. Рябов прицелился в гуся. Мишень была величиной с чайное блюдо. Он слышал, как полный юноша с бакенбардами, наклонившись и не отрывая щеки от приклада, сказал своей знакомой:

- В тире, как нигде, мы ощущаем тождество усилий и результата.

"Видать, не русский", - подумал Рябов.

Гаенко промахнулся. Васька тоже. Через минуту пульки кончились.

- Ну и ружья у тебя, хозяин, - сказал Андрей, - из такого ружья по динозаврам бить да и то в упор. Слышал про динозавра? Большой такой...

- Целиться надо, как следует, - усмехнулся хромой, - а ну, смотри!

Он поднял ружье и тотчас же выстрелил - зеленый арбуз распался надвое.

- А ты говоришь, - некстати произнес Гаенко, и друзья покинули тир.

Заметно стемнело. В свете неоновых огней лица прохожих казались бледными, осунувшимися. Мир выглядел ожесточенно, загадочно, трудно. Все наводило на мысль о таинственной глубине и разнообразии жизни.

- Куда мы теперь? - спросил Васька Рябов, - вот если бы с девушками познакомиться, - мечтательно добавил он, - да к ним бы в гости зайти, и не то что рукам волю давать, а так посидеть, чаю бы купили, сахару...

- Это запросто, - сказал Гаенко, - это в элементе. Ты только покажи, какая тебе нравится.

- Да я не знаю, - смутился Рябов, - все они ничего.

- Эта слишком толстая, - прикинул Андрюха, - а эта какая-то задумчивая. Может, сифилис у ней...

- Да ну? - удивился Васька, - а ведь никогда бы не сказал, в очках, с портфелем...

- Во-во, - заверил Гаенко, - эти-то самые опасные и есть.

Солдаты миновали витрины "Динамо" с мотоциклом ИЖ-Юпитер и рядами двустволок, обувной магазин, пирожковую, за стеклами которой толпились люди, бордовый фасад с кариатидами, шумный перекресток на углу Литейного и Чайковского, а там дома внезапно раздвинулись, и они вышли на набережную.

- Смотри, - вдруг шепнул Гаенко, - видишь?

Мимо почти бежали две девушки в одинаковых курточках.

- Девушки, - каким-то изменившимся высоким голосом сказал Гаенко. Маленький и кривоногий он едва поспевал за ними, - девушки, вы не нас дожидаете?

Те ускорили шаг, не обернувшись. Гаенко сказал:

- Дела у них. Может, экзамены сдают.

- Наверное, - поддакнул Рябов и добавил, - а у меня в Ленинграде знакомая есть.

- У тебя?! - до обидного поразился Гаенко.

- Три года назад у нас веранду снимали на лето. И дочка у них была, Наташа. На лицо и на фамилию всех помню, только адрес забыл. В гости звали...

- Да как же ты в Ленинграде найдешь человека по фамилии? Тут одних Петровых миллион.

- В том-то и дело, что фамилия редкая - Ли.

- Как?

- Ли.

- Просто Ли?

- В том-то и дело.

- Пошли в Ленсправку, есть такая будочка. Там за пятак кого хочешь найдут,любого рецидивиста.

Старушка в будке долго листала толстую книгу, переспрашивала и отчего-то сердилась.

- Фамилия?

- Чья, моя?

- О, господи! Того,кто вам нужен.

- Ли.

- Как?

- Ли, - отчетливо повторял Васька, - лэ, и-и, Ли.

- Инициалы?

- Да вроде бы из русских.

- Инициалы, я вас спрашиваю.

- Русские, я же сказал. Отец, тот на китайца смахивает малость, а Наташа русская...

- Нет, вы просто издеваетесь! Имя-отчество мне надо знать.

- Так бы и сказали. Чье, мое?

- Я этого не вынесу... Имя-отчество того, кого разыскиваете.

- Вот этого не знаю, не помню...

В Ленинграде оказалось два семейства по фамилии Ли. Гаенко записал оба адреса, на Марата 12 и в Дачном.

- "Мальша" возьмем? - сказал он, - думаю, не повредит.

Дом на Марата был украшен старинными лепными колоннами. Солдаты миновали полутемный двор. По углам возвышались мусорные баки. Чахлый газон с оградой из проржавевших труб

лишь подчеркивал массивное убожество этих нештукатуренных стен с желтыми и розовыми окошками. Старик с лохматой болонкой указал им дорогу. Солдаты поднялись на четвертый этаж.

— А не попрут нас отсюда? — вдруг испугался Гаенко.

— Так ведь сами звали. И потом, кабы мы пьяные или что...

Дверь отворил рослый мужчина с жесткими прямыми волосами. На нем была теплая домашняя куртка. Увидев военных людей на площадке, мужчина забеспокоился. Гаенко козырнул.

— Здравия желаем, — бодро начал он, — мы извиняемся...

Но по коридору уже шла девушка, взволнованная, рыжеволосая, в какой-то странной треугольной накидке.

— Папа, это же Вася, — крикнула она, — сын тети Шуры из Боровлянки, помнишь, он меня еще курить учил! Заходите, мальчики, ну что же вы?..

Пол в квартире блестел, отражая свет импортных немецких бра. Рябов и Гаенко молча стащили сапоги, обернув портянки вокруг голенищ. Когда друзья шли босиком по коридору, тесемки от галифе волочились следом. Гаенко достал из кармана маленькую и нес ее перед собой, как фонарик.

— Да тут можно баскетбольные кольца повесить! — воскликнул он.

Комната была просторная с высоким потолком. На фоне старинной темной мебели выделя-

лись пестрые безделушки, кричащие яркие репродукции, заграничные конверты от пластинок. В кресле сидел худой печальный юноша с интеллигентным лицом. За его спиной девица в брюках перелистывала книгу.

- Я вам шлепанцы дам, - сказала Наташа.

- Да ничего, и так сойдет, - отмахнулся Гаенко.

- Абстракция? Уважаю, - добавил он, показав на одну из картин.

Наступила тишина. Чтобы как-то ее заполнить, юноша, который назвался Федей, включил магнитофон. Раздались тоскливые звуки. Гаенко с маленькой в руке стал притопывать в такт. Затем он сказал, шевельнув пальцами босой ноги:

- А вот у нас в Перми был случай. Один мужик ботинки носил сорок восьмого размера. В магазинах не достать. А ему из дому не в чем выйти, старые начисто прохудились. Короче - завал. Что делать? Он и в министерство писал, и в газету обращался, ничего не помогает. Тут ему жена и говорит: "Ты бы, Паша, мозоли срезал". А мозоли у него были - это страшное дело. Мужик послушался, наточил саксан и р-раз, все мозоли долой! Теперь он сорок третий размер носит и хоть бы хны...

Все то время, что Андрюха рассказывал, Наташа и ее гости как-то встревоженно переглядывались. В конце интеллигентный юноша фальшиво засмеялся, а Васька Рябов покраснел.

- Рассказали бы, как вы служите, - попросила Наташа.

- Пардон, но это военная тайна, - отчеканил Гаенко.

И снова наступила тишина.

- Сообразим, - поднялся Гаенко с маленькой в руке, - что-то стало холодать, не пора ли нам... - он умолк, выжидательно глядя на девицу в брюках.

- Поддать, - с испугом шепнула та.

- Что-то стали ножки зябнуть, не пора ли нам...

- Дерябнуть, - еле слышно пролепетала гостья.

Наташа достала рюмки. К удивлению Рябова девушки тоже выпили. "Верно, белое пьют, не соврал Андрюха".

- Вы бы рассказали что-нибудь, - обратилась хозяйка к Ваське Рябову.

- А чего рассказывать?

- Ну, я не знаю, мало ли...

- Зато он штангу жмет сто килограмм, - вставил Гаенко.

- Ого, - произнесла Наташа, - Федя, ты бы мог?

- Увы, - сказал юноша, - я потерян для спорта.

И снова наступила тишина.

- А вот у нас в Перми был случай, - заговорил Андрей, - так это чистая фантастика.

Потом он как бывалый рассказчик выдержал томительную паузу, достал папиросы, закурил,

сунул обгоревшую спичку в коробок и продолжал:

- Был у нас случай в Перми, как один мой дружок с похмелья глаз выпил.

Наташа и ее гостья обеспокоенно переглянулись.

- Глаз? - переспросила хозяйка, - собственный глаз?

- Дело было так. Керосинили мы с Жекой Фиксатъм четыре дня. Я аванс пропил, он аванс пропил и занять не у кого. Я свои "котлы" за десятку вшил. Пропили десятку. На следующий день весь город обошли - непруха. Вечереет, а мы еще и не опохмелялись. Тут Жека мне и говорит: "Идея. У моей мамыши глаз заспиртованный хранится". Мать его в школе ботанику вела и зоологию. И у нее там всякие зародыши в банках стояли. Ну, мы бегом в эту школу. Жека выносит банку. А там, значит, глаз. Большой такой, как помидор, я даже удивился. Фиксатый его выловил и в сортир, а спирт мы тут же и употребили. Жеку выворачивать стало, пена идет со рта да и мне не по себе. Хорошо, у его мамыши как раз переменка, звонок с урока. Грамотная женщина, шуметь не стала, а сразу за врачом.

Гаенко стих.

- Ну и что же? - поинтересовался Федя.

- Да у меня-то всё о кей, - сказал Гаенко, - а вот с фиксатъм хуже.

- Помер? - тихо вскрикнула Наташа.

- Да нет. В тот-то раз его спасли, окли-
мался, а к весне ушел этапом. На танцах одно-
го пощекотил. Шабером под ребра...

Гости сидели бледные, притихшие. Беззвуч-
но, чуть покачиваясь, крутилась заграничная
пластинка.

- Пора нам, - сказал Васька Рябов.

- Ой, да вы же и чаю не выпили, - забес-
покоилась хозяйка, - это буквально три мину-
ты.

- Пора, - упрямо настоял ефрейтор.

- Нет, так я вас не отпускаю.

Наташа достала из шкафа хрустальную вазу,
полную яблок: "берите, тут каждому по ябло-
ку, вы же видите, хватит всем, да не стесняй-
тесь, Андрюша, Вася..."

Когда они натягивали сапоги, в прихожую
выглянул отец.

- До свидания, молодые люди, - сказал он,
- берегите, как говорится, честь смолоду, зор-
ко охраняйте наши рубежи...

- Служим Советскому Союзу! - негромко вы-
крикнул Рябов.

- Все будет о кей, - заверил Гаенко.

Не глядя друг на друга, они спустились по
лестнице. Моросил дождь. В сыром полумраке
желтели фары машин и огни автоматов с газир-
рованной водой. Толпа поредела, лишившись яр-
ких красок. Темнота, казалось, приглушила зву-
ки. Над городом стоял негромкий мерный гул.

Некоторое время друзья шли молча.

- А ты ей, видать, понравился, - осторожно начал Гаенко.

Рябов недоверчиво взглянул на него и промолчал.

- Зуб даю, - поклялся Гаенко, - знаешь, как она на тебя смотрела?

Он выпучил глаза, изобразив всем своим видом женский трепет.

- Это она с испугу, - произнес Васька Рябов.

У каждого из них под сукном шинели рельефно и тяжело обозначалось яблоко. Гаенко вытащил свое и с хрустом надкусил. Рябов тоже. Часы над головой показывали без двадцати восемь.

- Успеваем, - сказал Гаенко, разворачивая карту, - до вокзала пять минут и в электричке сорок, а там рукой подать...

Вдруг он засмеялся, свободной от яблока рукой крепко ухватил Ваську за ремень и попытался кинуть его через бедро. Тот широко расставил ноги и без труда избежал приема. Но Гаенко сразу же ушел влево, рванул Ваську на себя, чтобы дать заднюю подсечку. Смятая карта упала на асфальт. Огрызок яблока покатился через трамвайные рельсы.

Слабей от хохота, друзья возились под фонарем, и редкие прохожие без злобы смотрели на них...

Спустя час они подходили к зеленым воротам. Рядом желтело окошко караульной будки. Дневальный, не глядя, пропустил их, звякнув

штырем. В десяти метрах начинался забор, увенчанный тремя рядами колючей проволоки. На углу возвышался сторожевой пост.

Из канцелярии доносились звуки аккордеона. Там репетировал капитан Чудновский, пытаясь сыграть буги-вуги. Желтоватые клавиши аккордеона были пронумерованы. Чудновский обозначил фламастером, какую нажимать.

– Не опоздали? – спросил он, продолжая тихо музицировать.

Гаенко взглянул на часы, протянул увольнительные.

– Посмотрите в коридоре завтрашний наряд, – сказал Чудновский, – Рябов поведет бесконвойников на отдельную точку. Гаенко в распоряжении старшего надзирателя Цвигуна. Еще раз повторяю, с зеками не церемониться. Снова опер жаловался, понимаешь... Никаких костров, никаких перекуров... Родственников гнать! Сахара кусок найду при шмоне – увольнения лишитесь, ясно?

– Ясно! – выкрикнул Рябов.

– Все будет о кей, – заверил Гаенко.

– И с зеками, говорю, построже.

– Да я бы передумал их, гадов! – сказал Андрюха.

– Это точно, – подтвердил Васька Рябов.

– Можете идти.

Друзья козырнули и вышли. Вслед им раздавалось:

*От Москвы и до Калуги,
Все танцуют буги-вуги...*

из цикла "натали"

* * *

О, ненависть, религия моя,
Первооснова в прошлом бытия
Всех дней моих и всех моих свершений,
Тебе во всем я верным остаюсь -
Что ненавидел,
 и теперь, клянусь,
Я ненавижу. Я твой вечный пленник.

Но одарил невидимый Господь:
За что - не знаю, одарил нежданно.
Пытался я себя перебороть -
Смирял я дух и усмирял я плоть...
Но мне они не подчинялись странно.

О, ненависть, прости меня, прости -
Закрыты, перекрыты все пути,
Любовь моя, как эхо, безответна.
Но я сегодня счастлив и такой,
Я очищаюсь ею, как грозой,
И с нею я беседую, как с ветром.

Что будет завтра? Может быть, вернусь
К тебе одной в холодные объятия.

Ну, подожди. Рукой еще коснусь,
Хоть на прощанье, но еще коснусь -
Ее волос, ее лица и платья.

13 мая 1980

Ты уехала. Одиночество
Распростерло свои крыла.
Где Вы были, Ваше высочество,
Где, любимая, ты была?

Ни в гадания, ни в пророчества
Я не верю. Ушла - ушла!
Как Вы жили, Ваше высочество,
Как, любимая, ты жила?

Вспоминала хотя бы изредка -
Или кончен последний бал!
Жизнь уже не начнется сызнова,
Отыгрался я, отыграл.

Ну, конечно, любви мне хочется,
Если только твоя не ложь...
Как живете, Ваше высочество,
Как, любимая, ты живешь?

18 мая 1980

Я говорю на языке твоём,
Тебе в любви я признаюсь на нём.

На нем я Богу древнему молюсь,
Тебе, неверной, в верности клянусь.

Ах, Натали, избранница моя,
Непостижимы тайны бытия.
За что люблю — не ведаю и сам,
Но, как малыш, читаю по складам

На-та-шень-ка, На-та-ша, На-та-ли...
Благослови, Господь, благослови!
Ну, что мне делать,
 коль перебороть
Я не могу ни кровь свою, ни плоть.

29 мая 1980

* * *

Твое письмо. Всего одна страница.
Я снюсь тебе. Ты помнишь обо мне.
И чудится, что я поймал жар-птицу,
И голос твой услышал в тишине.

Чем заслужил я, Боже милосердный,
Такое счастье? О, благослови!
Как бьется сердце. Как пирует сердце.
И как поет и плачет о любви.

11 июня 1980

* * *

*Любовь без ревности, что тело
без души.*

(испанская пословица)

Мне сорок шесть. Но словно двадцать.
И ты одна тому виной.
Я за тебя готов сражаться -
Со всей землей, со всей землей.

Я за тебя готов на плаху.
И на костер, и на костер.
Но коль обманешь - как наваха,
Мой нож остер, мой нож остер.

Рука не дрогнет, коль изменишь -
Зазря не плачь, зазря не плачь.
Еще сегодня я твой пленник,
А завтра, может быть, палач.

Но без тебя не в силах выжить -
Я сам себя приговорю.
И уж никак не меньше вышки
Я отхвачу. И отгорю.

Мне сорок шесть. Рука не дрогнет.
Себя отправить к праотцам.
Но это завтра. А сегодня
Всего себя -
тебе отдам.

11 июня 1980

Впервые

Все впервые. Впервые ребенка хочу.
И впервые с любовью за тряпки плачу.
И впервые желаю всю ночь напролет.
И впервые любви не гнушается рот.

И впервые я женское имя твержу.
И впервые любви, словно нищий, прошу.
И впервые, как отрок семнадцати лет,
На ромашках гадаю – свершится иль нет.

Я привык побеждать. А теперь побежден.
Я привык укрощать. А теперь усмирен.
Околдован, опутан, отгадан впервой.
И впервые смеюсь над самим я собой.

13 июня 1980

* * *

За окошком дождит и дождит.
И на сердце дождит и дождит.
Надо б выпить. Но лень вылезать.
И куда-то за водкой бежать.
Одиночество. Архитоска.
Все пророчества – чушь, чепуха.
Мне за тридевять чуждых земель
Улететь бы, умчаться отсель.
Где ж ты, сила бывшая моя?
Пуст сегодня по-страшному я.

На земле, опостылевшей враз,
Разделившей уверенно нас, -
Мне бы порцию злого свинца...
Ах, как вычерпан я до конца.

15 июня 1980

* * *

Ничего не осталось в душе:
Ни любви, ни тоски, ни обиды,
Ни надежды, ни злости, ни свиты
Разномастных упреков.
Прощай...

16 июня 1980

* * *

Твоим словам я больше не поверю,
Свою любовь я по ветру развею -
Пускай летит неведомо куда.
Пусть никогда назад не возвратится,
Пускай в траву какую превратится -
И даже не приснится никогда.

16 июня 1980

* * *

Ты мне сказала: "Я тебя люблю".
И серый дождь мне светлым показался.
И смутный вечер превратился в день,
В розарий пышный - скромная сирень...

И я, что Дон-Жуаном прозывался,
Переиначился, перековался
Вдруг в Дон-Кихота...
Я тебя люблю.

* * *

Ты со мною, ты со мною!
Станешь ты моей женою
Вопреки всему!
Где бы ни был, где бы ни был -
Слышу, слышу трубы неба
И молюсь Ему...

25 июня 1980

Аркадий РОВНЕР

розы щербунчика

десять лет он женат он жену затомил он де-
тей заморил он их ест он их гложет не пить
он не может ушла и детей увела а куда

щербунчик паскудник похабник за чекушку
продаст за поллитра пойдет на край света ему
бы настырничать да нарываться да пивом ле-
читься спросонок

шива он нараспашку рубаха без пуговиц пят-
на на брюках ширинка расстѣгнута глаза воро-
вато-веселые взгляд дикой

живой он не умер все вокруг перемерли хо-
дячие гробы а он только спит будто вечную
книгу читает

он лежит на полу пустыри и заборы пивные
ларьки беломороканал кто придет принесет по-
хмелиться может друг может враг на жену не
надейся

на углу комсомоль с кого и улицы дмитрия
улиянова чуть-чуть на взгорке на сквозняке
дом этажей на двенадцать-тринадцать не белый

не черный не пегий а бог его знает какой он

и живут в нем одни инженеры женеры чиновники новники продавщицы ищицы подонки и прочая нечисть котов тараканов не счесть

как с морозца в подъезде окажешься в нос тебе сразу шибает парами это мыши мочу в радиаторе греют пока лифта ждёшь пообвыкнешь гадаешь придет не придет то ухом прилепишься к дверке то в щелку засунешь зрачок трос не движется

когда дверка отшвыркнется от благодарности млеешь про запах забывши

щербунчик живет на восьмом дверь направо без номера кнопка отсутствует стучи не стучи все напрасно

естественно ждать начинаешь

перед дверью топчась слышишь борщ из квартиры иной слышишь мат с монологом хлопущи

пролет лестничный вверх-вниз без лампочки уголок штукатурки

погонят тебя вниз пролет за пролетом пролетом цепляя перила на улицу на сквознячок позвонить на углу либо шишкину либо тетеркину

на углу комса моль с кого и улицы дмитрия улялю средь сугробов торчит телефонная будка с дверцей навеки отворенной трубка висит и гудит диск с зацепом прокручивается

кось а кось саш а саш нет ответа крути не крути

и опять поднимайся не майся ныряй в моче-
вую парилку засовывай в щелку зрачок трос
дрожит расшибайся в признательности к подер-
гунчику лифту

ползи на восьмой
дверь без номера та же и борщ и хлопуща
на месте

саша костя щербунчик все заняты делом на
диванах и креслах разлегшись обсуждают бес-
смертье и странствие душ в давакане только
ты идиот в темноте взад вперед взад вперед
три вперед два назад лифт на третьем назад

постучи-ка еще может дрыхнет щербунчик а
нет возвращайся не майся в медведково раз
метро пролетарская два автобус от вэдэнэха
три трамвай и сорок минут на трамвае а не хо-
чешь не надо ходи взад-вперед три туда два
обратно лифт на пятом назад

на углу ком со смольного дмитрия желуяно-
ва и улицы трулялю в доме на взгорке на вось-
мом этаже распахнулась соседняя дверь пропус-
кает тебя выпускает хлопущу хлопуща орет воз-
ле лифта и в лифте с седьмого с шестого с
четвертого вертого тертого все

он орет обнимая хозяина лифт дверцу лифта
и стенки

я великий кричит о какой я великий е ли-
кий я ликий о кий умолкает

я спускаюсь в провалы и бездны разрывы в
инфернальные всполохи мрака

вам не снились глубины и холод и последняя тьма Абсолюта и черный падения свет

там последний нетронутый Бог это я я последняя тайна

ногу мою я несу и целую и глажу предел совершенств нога

ногу мою я несу и смеюсь я и плачу этот шаг этот шанс мой на небе а вы

недотыкомки сволочи самого аримана опошлили вы ари мана ори не ори не услышат олига френия

я великий кричит он я самый великий е ликий и кий

он великий бородком мотает он тучен лохмат он нечист а хозяин ему улыбается нижней губою лукава

я ценитель я знаю я знаю улыбается я всё-ё-ё понимаю

ты великий вели кий вали ка вали ка вали я вот мудрый мудрей я мудрей я мудрейший один я

я собран и мудр улыбается я и мудрый и точный я восточный восточнейший дальневосточный

улыбка моя двухголова двуглавой змеей из себя я себе улыбаюсь покровитель слепцов я заблудших к себе приучаю пускаю берите что можете уносите ибо случая нет вы пришли вы стоите вы ждете щербунчика вы не сюда вы туда это все не имеет входите согрейтесь хоти-

те молчите хотите курите я вам улыбаюсь улыбкой которой я знаю

вот хлопуга щекотит щекоткой астрала щепоткой мусолит он трупы ему б сосунков попугать прокатиться на чайниках он без мыла пройдет где не надо где надо нигде не застрянет

вот щербунчик дебил в растворении слов он не вяжет залить бы глаза на скандал бы нарваться за чекушку продаст за поллитра пойдут на край света

я мудр я точен я вам улыбаюсь но это обман сигаретой играя нога на ноге меня нет нет опоры любая опора обман и любые слова повисают откажитесь от смыслов и смыслов и смыслов и смыслов

вы присядьте откушайте чаю впрочем чай у нас вышел

вы подумайте сами где низ где верх все в смешении только брызги и брызги опора теряется смыслы уходят песок просыпается ушел между пальцев кто поймал потерял потерявший поймал бог пугающе мал исчезающе мал все прямые усилия тщетны улыбается подбородком лукавя

на углу лжедимитрия и улицы пьяного янова груды грязного снега и дом на пригорке не белый не пегий котов тараканов не счесть

пролет лестничный вверх-вниз без лампочки уголок штукатурки

все квартиры, отсеки, мусоропровод и гул-
кая шахта лифта наполнились стуками ржанием
дребезжанием хохотом и угрозами то розы щер-
бунчика

вот он сам на пороге беломороканал и при-
щур то улыбка угрозы и грёзы улыбки младенца
в пролет двери раздавшийся он сыплет безвид-
ные искры вот-вот упадет

он шива рубаха без пуговиц пятна на брю-
ках ширинка глаза воровато веселые взгляд ди-
кой

кто здесь спит кто терезв выходи ты мне
друг али враг

кровь пушу буду бить буду косточки гнуть
загуляю на воле я

что мне бог что мне власть что мне со-
весть дурак ты терять-то мне нечего

потерял я жену растерял я детей сам дерь-
мо подзаборное

ах дерьмо так держись я тебе покажу ты те-
перь у меня потанцуешь

кто здесь пьян кто терезв кто мне друг
кто мне враг выходи загуляем

будем пить будем бить черепашки крушить
прочь из тела душонки трухлявые

мудрецы шельмецы и двулики великие ликие
икие тьфу напала икота всех топить до едино-
го в лужах

что мне бог что совдеп сам я бог сам сов-
деп я и черт мне не брат мне терять больше
ничего

извини друг что пьян пьян не глуп пьян
просплюсь заходи погудим погуляем

он от речи ослаб привалился к двери папи-
росную пачку он комкает

пальцы кривь пальцы вкось не достать па-
пироску две сломались две на пол

он за ними они от него

он под стул он под стол беломороканал под
коленкой он космы ерошит щербунчик он голову
вверх задирает

потерял я жену потерял я себя где щербун-
чик не та ли свинья что пьяна день и ночь и
с утра уж готова

ничего пьян не глуп пьян просплюсь но-но-
но интеллигенция вшивая

боги шиву послали на землю разведать что
же это такое приоткрыты пути небо ждет не
идет человек чем он занят в слепом небреже-
ньи

стали ждать шивы нет

посылают за ним не идет он

какие соблазны какие восторги щербунчика
держат в плену

он детей наплодил он жену заморил он их
ест он их гложет ушла и детей увела а куда

стали звать не докличутся

сунулись сами в подъезде шибает парами то
мьши мочу в радиаторе греют

ждали лифт подергунчик пришел дверь отшар-
кнул топтались щербунчика ждали

нету шивы свинья на полу в растворении лы-
ка не вяжет

шава крикнули боги

захрюкал щербунчик в ответ им

молния тучи прорезала гром прокатился по
небу убило свинью наповал

шава взлетая в чертоги глаза протирая зе-
вая

ах как долго я спал

ах как долго я спал и какой страшный сон
мне приснился

на углу комсомольского сольского мольско-
го и улицы лукичезового братца

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НОНКОНФОРМИСТЫ НА ЗАПАДЕ И ДОМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Выпуск десятого номера альманаха "Третья волна" приурочен к большому событию: открытию в Джерси-сити, то есть по соседству с Нью-Йорком, музея неофициального советского искусства. Он распахнет свои двери 15 сентября, в шестую годовщину бульдозерной выставки в Москве. Музей создан по инициативе президента русского культурного центра в Монжероне, Александра Гинзбурга и директора Монжеронского музея современного русского искусства Александра Глезера, с одной стороны, и президента находящейся в Джерси-сити организации С.А.С.Е. (расшифровывается как Комитет по абсорбции советских эмигрантов), миллионера и общественного деятеля Артура Абба Гольдберга и его помощника Джозефа Шнеберга, с другой.

С.А.С.Е. выделил под Музей два этажа трехэтажного дома в самом центре Джерси-сити. Причем уже начаты предварительные работы по созданию для Музея специального здания. Почти все русские художники эмигранты третьей

волны, а также А.Глезер, передали в дар новому музею около 300 картин, скульптур, акварелей, гуашей, рисунков, литографий и офортов. К открытию Музея, благодаря содействию А. Гольдберга, удалось издать серьезный каталог.

Возглавляет музей в Джерси-сити Александр Глезер. В художественный совет музея вошли искусствоведы, а также художники Анатолий Путилин, Оскар Рабин, Олег Целков, Михаил Шемякин, Анатолий Крынский, Виталий Длуткий. В комитет почетных попечителей Музея дали согласие войти многие всемирно известные писатели, художники, музыканты и общественные деятели, в том числе Генри Мур, Иегуда Менухин, Майкл Скаммел, Эжен Ионеско, Андрей Седых, Георгий Костаки, Джон Болт, Нортон Додж, Мюри Маклаин, Владимир Буковский, Владимир Максимов, Александр Гинзбург.

Подробно о событиях, связанных с открытием Музея, о его оценке американской прессой, мы расскажем в следующем номере альманаха.

биеннале русской графики

В парижской галерее "Москва - Петербург" в июле и августе проходила последняя в нынешнем сезоне выставка "Биеннале русской графики - 80". Конечно, размеры галереи не позволили показать творчество всех художников-нонконформистов, но тем не менее в экспозицию было включено свыше 60 акварелей, гуашей, рисунков, офортов и литографий двадцати мастеров. Как всегда, среди них и эмигранты, обосновавшиеся в Париже, Мюнхене, Нью Йорке, и те, кто живет в СССР - москвичи Владимир Немухин, Вячеслав Калинин, Владимир Янкилевский, а также Владимир Макаренко из Таллина. Произведения последнего мы выставляли впервые. Но парижанам его искусство уже знакомо. Здесь, в галерее Арди, в 1977 году с большим успехом демонстрировалась персональная экспозиция Макаренко. Чуть ли не все его акварели были тогда распроданы в первый же день на вернисаже. Критики отмечали колористическое богатство и щедрую фантазию художника, а Михаил Шемякин писал, что Макаренко "демонстрирует утонченность и глубокий аристократизм цвета и формы. Его картины отличает певучесть и непредвзятость линейных решений. И что самое

главное, бескорыстную, бескомпромиссную, традиционную русскую линию преданности идее гармонии и цвета".

Вот и сейчас работы Макаренко вызвали большой интерес у коллекционеров, а крупный американский журнал решил поместить на своих страницах цветные репродукции его акварелей. Владимир Макаренко — член группы "Санкт-Петербург", созданной в середине шестидесятых годов в Ленинграде по инициативе Михаила Шемякина и Владимира Иванова. Члены этой группы исповедуют разработанные ими принципы искусства метафизического синтетизма. Среди них, помимо самого Шемякина, — Анатолий Васильев, Олег Лягачев, Евгений Есауленко. В близкой к ним манере работают Анатолий и Людмила Путилыны. Всех их отличает особая цветовая гамма, фантазмагоричность образов, сочетание философского и декоративного начал, удивительная законченность произведений, тщательная отделка каждой детали. На Биеннале все члены группы "Санкт-Петербург" разместились в верхнем зале галереи, но рядом с ними демонстрировались и работы Владимира Немухина. И на его фоне, на фоне немухинских экспрессивных, необычайно тонких и несколько импрессионистических по цвету, зафиксированных резкими, прерывистыми линиями работ эта отделанность акварелей и литографий наших метафизиков выделялась особенно ярко.

В нижних залах галереи широко было представлено семейство Рабиных: Оскар и Александр

Рабины и Валентина Кропивницкая. Кстати, в октябре мы намеряем провести большую выставку этих трех художников, а в феврале или марте будущего года планируем организовать персональную Оскара Рабина. Он после двух лет пребывания в Париже наконец обрел себя, сумел увидеть столицу Франции по-своему и выразить в привычной для себя острой манере, то с лирическим, то с ироническим подтекстом. На Биеннале демонстрировалась серия его акварелей из цикла "Сувенирный Париж": Эйфелева башня, присевшая с бутылкой вина возле Нотр-Дам; Триумфальная арка, вглядывающаяся в лужу, сделанную ею; на веревке, протянутой между Эйфелевой башней и Триумфальной аркой, чьи-то джинсы, трусики, майки. Как заметила критик Кира Сапгир, "художника смешит сувенирное чванство наивных ярмарочных монументов... и насмешка постепенно становится сатирой".

Впервые показывал в галерее цветную графику Владимир Чернышев — до этого мы выставляли лишь его черно-белые рисунки. Правда, цвет не только не приглаживает страшноватого мира художника, но более того, как бы лишний раз подчеркивает его сюрреалистичность и абсурдность. Рядом с тяжело давящими на сознание персонажами Чернышева почти воздушными кажутся сделанные еще в Ленинграде графические листы Игоря Росса и рисунки бывшего минчанина Николая Павловского. Но, пройдя мимо них, зрители снова погружались в сложный философский мир образов Олега Целкова и Влади-

мира Янкилевского, в мистическую феерию графики Валентины Шапиро, в безумное Замоскворечье Вячеслава Калинина.

Как бы заключали Биеннале акварели бывшего киевлянина Антона Соломухи. Этот молодой живописец за сравнительно короткое время очень прогрессировал. Его произведения отличается безукоризненная техника, великолепное чувство цвета и изысканность линий. На прошлой выставке парижские коллекционеры приобрели пять работ художника, а на вернисаже — еще две. Причем все из одного цикла "Женщины на пляже", выполненного то в голубоватой, то в золотисто-розовой гамме.

А что касается того, что не все художники попали на "Биеннале графики — 80" — это не беда. Мы их выставим на "Биеннале-82" и на многих других выставках, которые планирует провести в 1980 и в 1981 году галерея "Москва-Петербург".

А. Глезер

ХУДОЖНИК - ФИЛОСОФ

ВЛАДИМИР ЯНКИЛЕВСКИЙ

Владимир Янкилевский родился в 1938 году в Москве. Окончил Московскую среднюю художественную школу, а позже Московский Полиграфический институт, где занимался живописью под руководством Эле Белютина. В 1962 году Янкилевский принял участие в выставке, посвященной 30-летию Московского Союза Художников, где в закрытых для публики залах экспонировались работы модернистов, вызвавшие яростный гнев Никиты Хрущева. Глядя на произведения Янкилевского и его друзей, вышедший из себя глава правительства и ЦК партии вопил: "Когда я смотрю на то, что вы делаете, то понимаю, что все вы педерасты. А у нас за это сажают. Убирайтесь на Запад!" Но хотя за последние 10 лет имя Янкилевского, стало достаточно хорошо известно европейским и американским любителям искусства и специалистам, хотя он неоднократно и с успехом выставлялся в музеях и галереях Англии, Франции, Западной Германии, Японии, США, Италии и Швейцарии, хотя его рисунки и офорты находятся во многих частных собраниях и, более того, их приобрел даже парижский музей Современного искусства, такой роскоши, как эмиграция, художник себе не позволяет. Он предпочитает оставаться в своем городе Москве, на русской

земле, и там, в трудных условиях, которые нам хорошо известны, отстаивать свое право на свободу творчества.

Владимир Янкилевский - один из зачинателей московской школы художников-концептуалистов. Его интересует человек как некое космическое существо во вселенной, но не в плане научной фантастики, а в философском плане изначальных причин и следствий бытия, в стремлении понять человека как существо, в котором существуют и мужское, и женское начало, персонифицирующееся в мужчине и женщине и сливающееся, по мысли художника, в едином лице - человеке.

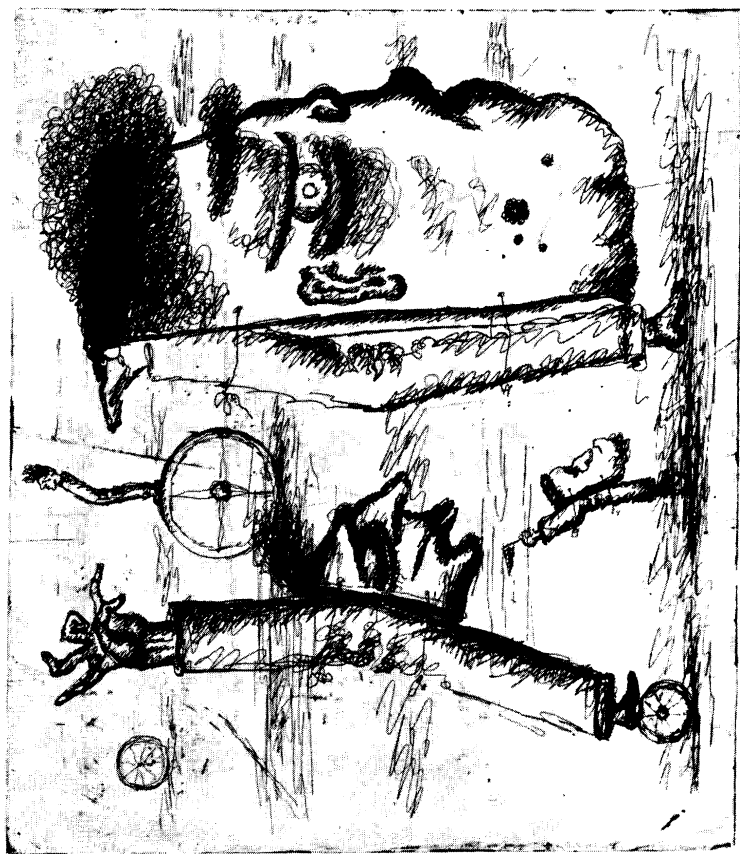
Чаще всего Янкилевский создает триптихи, и все они основаны на этой схеме. Существует канон: мужское, женское начало и среда. Последняя может быть земным, космическим либо абстрактным пейзажем. Данная среда и соединяет два этих крайних начала. Через нее всегда происходит между ними диалог, взаимодействие. Таким образом, художник разрабатывает проблему экзистенциальную, лирико-экзистенциальную, недаром и триптих № 3 прямо и называется "Экзистенциальный". А есть еще "Адам и Ева", "Анатомия чувств".

Сам Янкилевский говорит: "Эти триптихи меня интересуют, так как, по-моему, они лежат в основе всех явлений. Я не хочу отодвигать остальные слои жизни и бытия и обнажать только первоисточники. Нет! Сквозь все слои жизни и бытия, как сквозь воду глядя на дно, я

стараюсь увидеть на нем и что над ним". Ни один триптих художника не имеет литературного сюжета и поэтому его трудно прочесть. Триптих развивается не по литературным канонам, а держится на тех напряжениях и взаимодействиях, которые строятся между всеми тремя частями. Это не три картины, объединенные сюжетом, а одна, состоящая из трех частей. Каждый триптих – роман. Содержание: он, она и среда. Все, что происходит, зашифровано художественными средствами, которые зритель в силу эмоциональной близости к решаемой теме и общекультурной подготовленности может воспринять в большей или меньшей степени.

Работа над триптихами сопровождается разработкой этих тем в картинах и рисунках. Там нередко отдельно рассматривается мужское начало, женское начало, среда. В серии офортов "Анатомия чувств" (56 листов) суммируются все поиски. Тут – анатомия переживаний человека, попытка выразить через человека его внутренний мир.

Другая серия офортов "Город маски" Янкилевского потрясает. Недаром один из искусствоведов, глядя на эту серию работ, назвал Владимира Янкилевского русским Гойей. В этих офортах художник рассматривает проблему разрушения человеческой личности, перестающей жить сознательной жизнью и становящейся частью какого-либо механизма. В определенном смысле близка к ним по теме, находящаяся в Монжеронском музее современного русского ис-



Владимир Янкилевский. Из цикла "Горюг-маски"

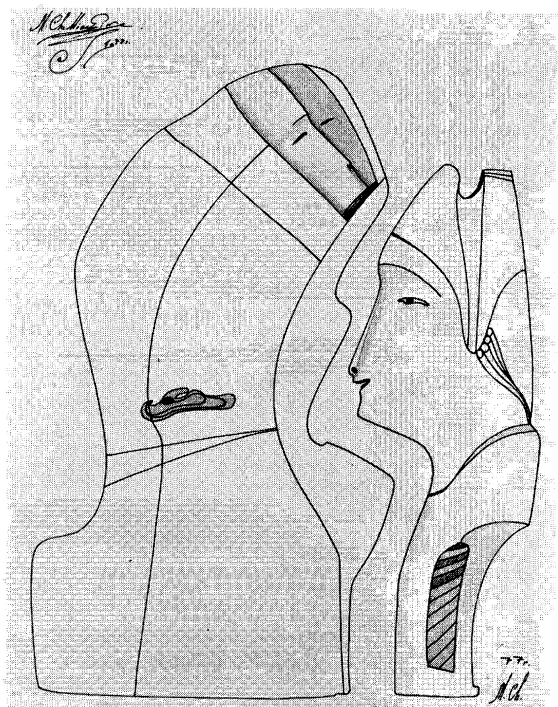
куства, картина Янкилевского "Пророк". В ней разрабатывается тема между изначальной чистотой интеллекта и конкретным физиологическим существованием.

В настоящее время Монжеронский музей готовит ряд выставок в Европе и Америке. На них, также как на экспозициях, которые в октябре организует в Лондоне и Цюрихе парижская галерея "Москва-Петербург" будут широко представлены произведения большого русского художника, художника - мыслителя, художника - философа, Владимира Янкилевского.

Александр Давидов

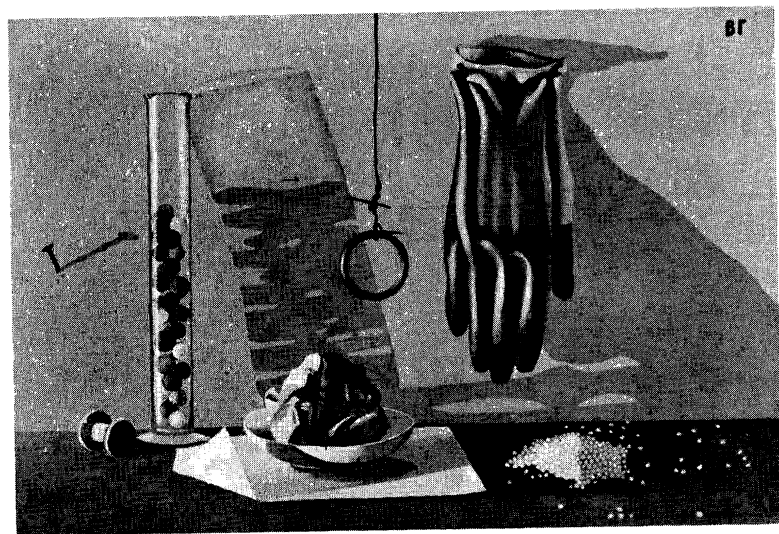
В МУЗЕЯХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА

В музей Джерси-сити и в музей Монжерона передали недавно в дар свои работы многие художники эмигранты. Часть из этих работ, мы воспроизводим в нынешнем номере альманаха, а часть в следующем.

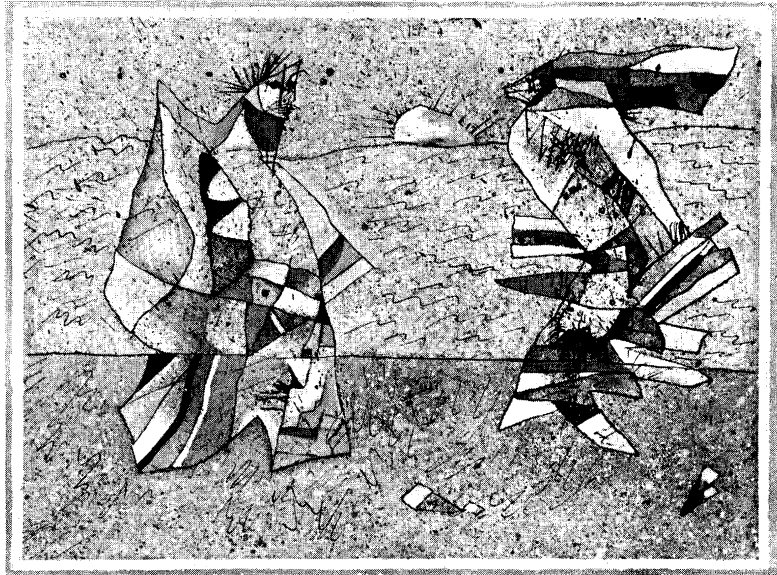




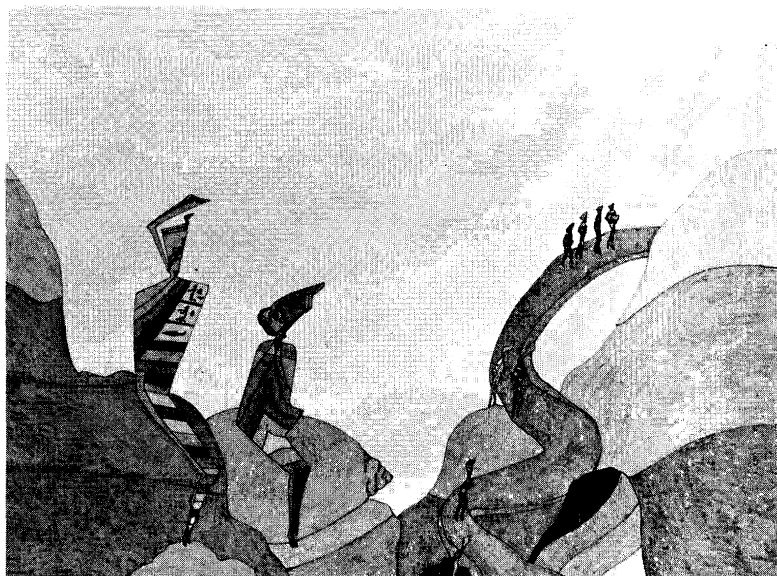
Игорь Белкин "Школа игры"



Владлен Гаврильчик "Натюрморт"



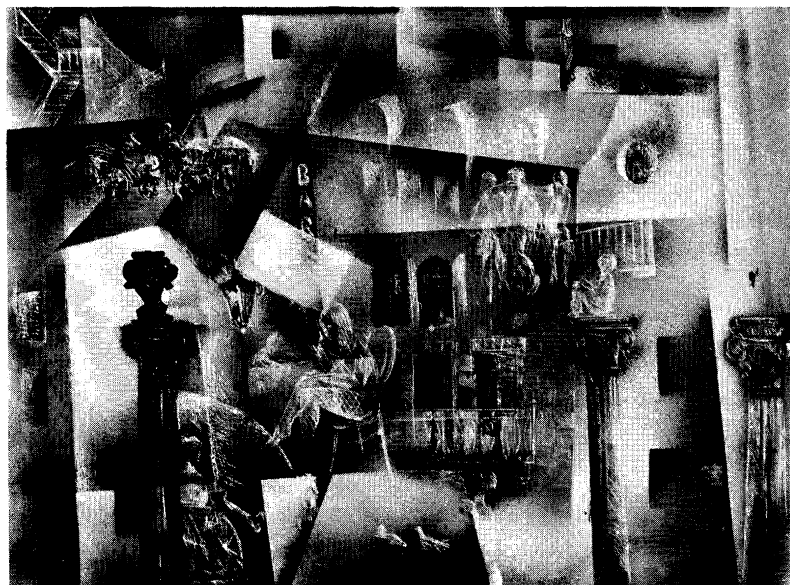
Антон Соломуха "Женщины на пляже"



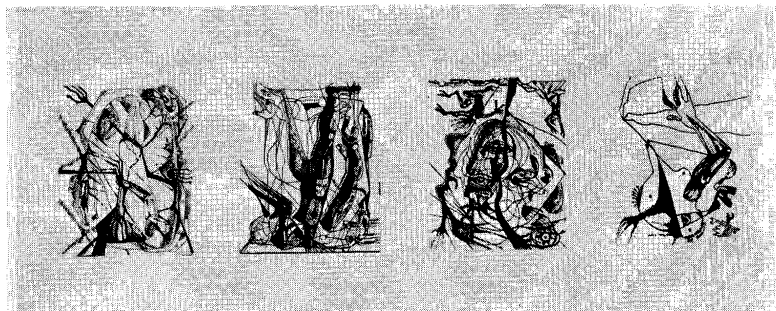
Доротея Шемякина "Фантазия"



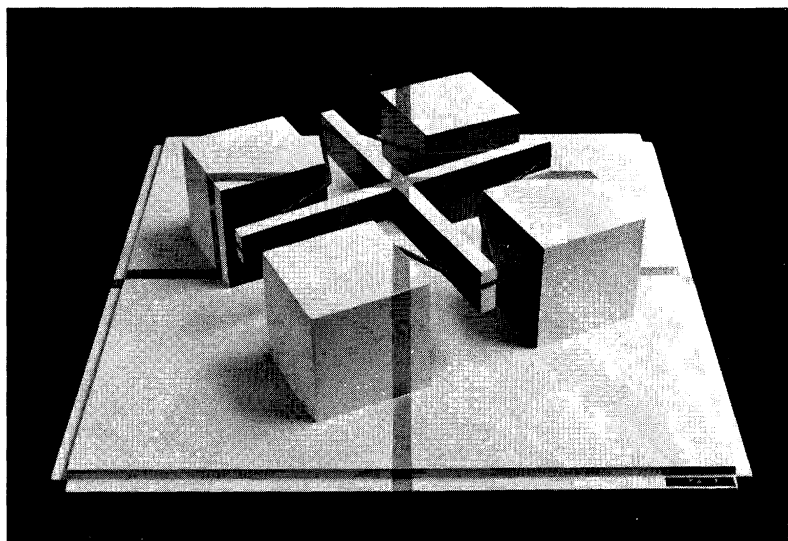
Геннадий Нейштадт "Портрет А. Глезера"



Михаил Ивенитский "Мираж"



Эрнст Неизвестный "Тетраптих"



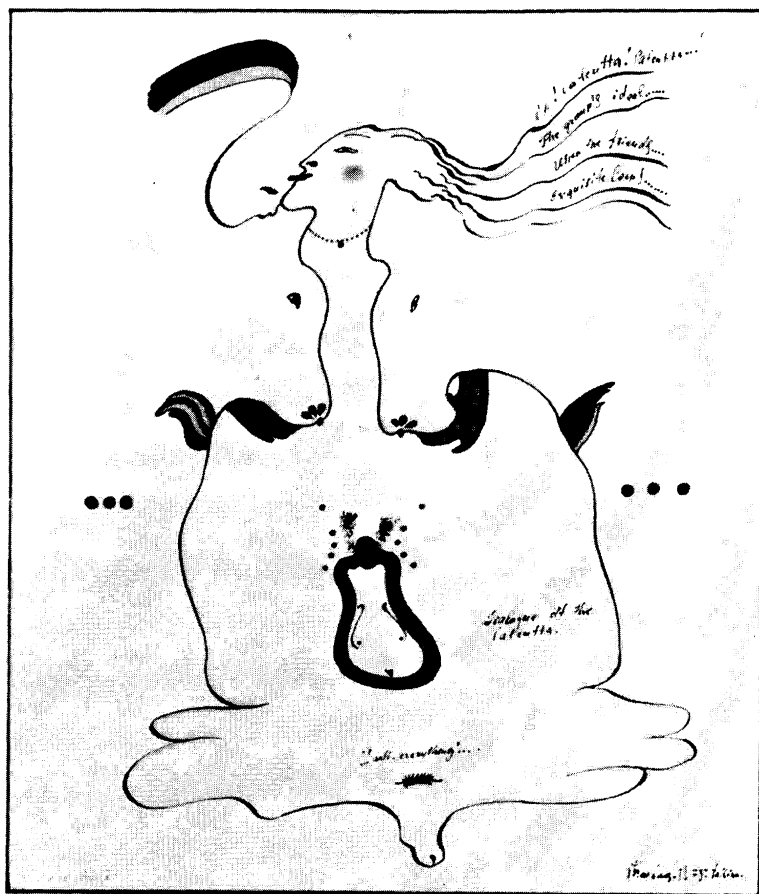
Гарри Файф. Композиция



Владлен Снитковский "Возвращение моряка"



Валентина Кропивницкая "Фантастический пейзаж".



Владимир Макаренко "Композиция"

НАШИ ГОСТИ

За последнее время в русском зарубежье появилось немало новых изданий: журналов, альманахов, а теперь и еженедельников. Сегодня в гостях у "Третьей волны" американские издания - альманах "Часть речи", первый номер которого совсем недавно вышел в свет в Нью-Йорке по инициативе и под редакцией Григория Поляка, и еженедельная газета, которую редактирует Сергей Довлатов.

часть речи

Иосиф БРОДСКИЙ

ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Все собаки съедены. В дневнике не осталось чистой страницы. И бисер слов покрывает фото супруги, к ее щеке мушку даты сомнительной приколов. Дальше - снимок сестры. Он не щадит сестру: речь идет о достигнутой широте! И гангрена, чернея, взбирается по бедру, как чулок девицы из варьете.

ПАМЯТИ ВОДКИ

1937 - 1944 - 1977

На даче спят. В саду, до пят
закутанный в лихую бурку,
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.



Плакат с улыбкой Мамлакат.

И Бесарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник
его прокуренный зубешник
все, все сумел перемолоть.
Не досчитался дядь и тетя.
В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса - "Таня". Книга - "Соть".



Господь, Ты создал эту плоть.

Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.

И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
"Возьми с собою сто рублей".



И по такой грущу по ней.

"Под одеяло рук не прячь,
И вырастишь таким, как Хомич.
Не пи..и у папаши мелочь.
Не плачь от мелких неудач".
"Ты все концы в войну не прячь".
("Да и была ли, Ерофеич?".
"Небось приснилась, Спотыкач".)



Мой дедушка — военный врач.

Воспомианьем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой — в огромность
квартиры, наводящей грусть.

барышников начинался так...

(ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ

MIKHAIL BARYSHNIKOV. FROM RUSSIA TO THE WEST)*

Первоначально я замыслил книгу о Барышникове скорее в теоретическом плане, полагая, что подход к нему как к модели совершенного танцовщика может пролить свет на более общую картину: из каких элементов складывается хороший или образцовый танцовщик. Этот подход повлек за собой размышления о русской хореографической школе; как снежный ком, стал расти компаративный балетный материал, в котором фигура Барышникова как-то растворялась. Получалось нечто вроде темы с вариациями, в которых тонула сама тема. Но дело было не только в этом: моя дружба с ним на протяжении 15 лет и пристальное внимание, с которым я следил за его карьерой, подбрасывали то и дело факты, бытовые зарисовки, полуканекдоты — почти помимо моей воли, — которые вроде бы и не вязались с тем высоким тоном, который я взял в начале разговора о нем. Память все время вмешивалась в повествование, окрашивая текст биографической краской и нотальгическими чернилами памяти, которые бы-

*Выходит в свет в декабре 1980 г. в изд. Farrar, Strauss and Giroux, New York.

ло никак не вытравить. С этим личным, почти мемуарным оттенком я боролся по мере сил, потому что он тянул в сторону биографии, а она была бы преждевременна. Барышников в расцвете своего драгоценного таланта, а биография всегда черта, подводящая если не итоги карьеры, то во всяком случае предполагающая уже близкий финал.

Если вспомнить слова Пастернака: "Не сам пишу, меня, как повесть, пишут", то они звучат вполне актуально применительно к этой книге, которая как бы писалась сама, зачастую вопреки моему плану и прикидкам. Поэтому получился скорее "личный портрет" танцовщика или очень личная интродукция в его творчество, объясняющая, как мне думается, артистический рост танцовщика. В случае Барышникова это особенно важно и интересно проследить, потому что это случай баловня судьбы (во всяком случае, так продолжалось до сего времени). Мало было иметь его артистический потенциал и выучку. Обстоятельства, время, момент, среда играли на руку его таланту, который мужал исключительно ровно, без решительных взлетов и падений.

Эта незримая фортуна споспешествовала ему с первого выступления его на легендарных подмостках Кировского, когда Барышников, ученик предвыпускного класса, руководимого Александром Пушкиным, появился в затасканном до дыр па де де из "Корсара". В Кировском издавна была своя публика, в 60-е годы состоящая боль-

шей частью из иностранцев, которым русский балет предлагался как очередная ленинградская достопримечательность наравне с Эрмитажем, Смольным и крейсером "Аврора". Кроме иностранцев, она состояла из балетоманов или балетных гурманов, которые, как во времена пушкинского Евгения Онегина, приходили "ошикать Федру, Клеопатру". Они были сверхвыскательны, избалованы тем пиршеством классического танца, которое вопреки всем катаклизмам, сотрясавшим Россию, блаженно длилось в этом позлащенном, затянутом синим бархатом зале уже более ста лет. Все более-менее знали друг друга в лицо, словно члены какой-то таинственной секты, три-четыре раза в неделю собирающиеся на свои загадочные сборища. Эта публика не прощала танцовщикам малейшего огреха, в своем свирепом азарте словно ожидая от них промаха, чтобы наказать ледяным молчанием того, кто оскорбил этот храм русской Терпсихоры. Классический балет для петербуржцев издавна был, как Ла Скала для миланцев, которых, как известно, больше пьянит вокальный огрех как повод для скандала, чем идеально пропетые *embellimenti*.* "Лебединое", "Жизель" и "Спящая" в своих оскорбительно обветшалых декорациях вряд ли кого как зрелище могли прельстить (балетного зрелища не было и в золотые времена Петипа, и, пожалуй, не грех заметить, что оно началось и кончилось не в Пе-

*Вокальные украшения (ит.).

тербурге, а в Париже, под опекой Сергея Дягилева в пору Русских сезонов). Поэтому ходили на Макарову-Жизель, Соловьева-Голубую Птицу, Осипенко-Фею Сирени, иной раз на одну вариацию или финал балета.

Привести этот зал в неистовство мог только чудодей. В тот вечер выпускников Вагановского училища в зале Кировского творилось что-то невообразимое: после вариации Барышникова из "Корсара", где он продемонстрировал чудо своего большого пируэта — идеально сбалансированного, под прямым углом над подмостками — публика буквально захлебывалась в криках "браво", сотрясавших расписные своды театра. Казалось, рухнут люстры и облетит позолота. Такой же энтузиазм бушевал в этих стенах десять лет без малого назад, когда выпускался Рудольф Нуреев, который блистал в том же па де де из "Корсара". Такого животного магнетизма и таких разрядов электрической энергии, которые посыпало в зал по-кошачьи грациозное, словно обуянное бешенством молодых гормонов тело Нуреева, публика в Кировском не помнила со времен Вахтанга Чабукиани, чей грузинский темперамент сообщал каждой роли его, будь то Солор в "Баядерке" или Альбрехт в "Жизели", особую зажигательность. Он словно посыпал в публику стремительные разряды сверхчувственности.

Ничего подобного не было в случае с Барышниковым. В ядовито-зеленых шальварах, с серебряной эгреткой на лбу, он скорее напоминал

не одержимого любовной горячкой раба, а юного эфеба, выплескивающего в танце радость от сознания своей всепобеждающей юности и сексуальной амбивалентности. Но главное заключалось в другом: в почти пугающе неправдоподобной чистоте классического танца, примерной элегантности каждой позиции и каждого движения и заразительном шарме, который они излучали. Барьшников с такой крылатой легкостью и спонтанностью переходил из одного движения в другое: казалось, тренированное тело само сочиняет хореографию на месте, снимая с нее патину привычного "morceau de virtuosite"*, надоедливо кочующего из концерта в концерт. Это был редчайший случай "самотанцующего тела", чья координация, баланс и музыкальность были врожденные и лишь отшлифованные тренажем. Эти качества можно лишь отдаленно имитировать искусной выучкой и постоянной отделкой, но отличаются они от врожденных, как разнятся неограниченный алмаз и бриллиант голубой воды. Чистота техники напоминала Юрия Соловьева, феноменального виртуоза, парившего на подмостках Кировского, но выигрывала в сравнении с ним артистизмом, которым Соловьев славился.

Но в Барьшникове нечто такое, чего не помнили даже старожилы Кировского: Барьшников демонстрировал чудеса "концентрированного" классического танца (феномена исключительно

**Виртуозный номер (фр.)*.

XX века), когда сами движения и связки между ними не существовали порознь, как это обычно бывало – они как бы уравнивались в правах, сливаясь в один поток стремительного танца.

Если Нуреев вызывал ассоциации у балетных старожилов с Чабукиани, то аналогия с Вацлавом Нижинским, его баснословным прыжком через почти всю Мариинскую сцену в "Видении розы", еще бередили воображение завсегдатаев Кировского. Не случайно, это имя замелькало в кулуарных беседах в антракте, как бы венчая своей легендарностью порывистость энтузиазма. В тот вечер в зале находилась Елизавета Тиме, драматическая актриса, первая исполнительница роли Клеопатры в фокинских "Египетских ночах", живая память русского балета и его славы. На мой вопрос: "Не напоминает ли Вам этот мальчик Нижинского своей техникой и артистизмом?" – почтенная дама, не покидая кресла даже в антракте, ответила: "Можете мне поверить, мой друг, что Нижинский никогда так не танцевал и никогда не обладал таким сокрушительным шармом. В мое время не было виртуозов на уровне Соловьева. Все это басни, будто танцовщики вертели по десять пируэтов и делали антраша дуз. А уж так, как танцует этот юноша, на моей памяти не танцевал никто. А она у меня хорошая и длинная. Между прочим, Павлова не имела техники ни Улановой, ни Макаровой – была бешеная одержимость танцем, было вдохновение. Виртуозность была у Кшесинской или Преображенской,

но лиризма настоящего не было. Нельзя иметь то и другое. А этот мальчик — исключение из правила, сокровище Кировского, которое надо беречь как зеницу ока".

Так начинался Барышников — в ореоле легендарности и исключительности, сопутствовавших ему на протяжении всей его стремительно развивавшейся карьеры.

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Андрей ДВИНСКИЙ

Время бабочек

В первый день нашего знакомства Галецкий рассказал мне о своем приятеле, трагически и странно погибшем поэте Леониде Аранзоне. Аранзон писал прекрасные стихи, и, по утверждению Галецкого, ему на бороду садились бабочки, и я пожалел, что не знал и теперь уже никогда не узнаю Аранзона.

Галецкий рассказывал тихо, неторопливо и потирал гладко выбритый подбородок, как бы косвенно сожалая о своем несовершенстве: порядочной бабочке и сесть-то некуда.

Потом я купил у Галецкого картину, поразившую меня точностью и лаконизмом: на белом фоне — белая надломленная хризантема. Мастер-

ский масляный штрих, которые одобрили бы Хokusай и Хиросигэ. Я нес картину домой, скромно размышляя о том, что становлюсь меценатом и коллекционером. Америка!..

Вечером пришел взглянуть на внука мой отец. Я небрежно показал на стену: "Ну, как?" Отец сказал: "Но ведь ты его не так повесил!" Я, холодея, спросил: "Кого его?" - "Ну, этот, экран для диафильмов. Он же должен висеть горизонтально".

Когда пришла мать, я задал уже наводящий вопрос, восстанавливая веру в человечество: "Как тебе нравится?" - "Ты же обещал в Америке не пить", - сказала мать.

Когда я ночью дома, то, просыпаясь, вижу хризантему. На нее падает свет из окна, и цветок чуть кольшется из последних сил, и все вянет и клонится махровая шапка...

Вторая картина, которую я купил у Юры Галецкого, называется "Медитация". Она разделена на восемь прямоугольников, соответствующих разным состояниям сосредоточенно размышляющего человека. Мои знакомые уважительно хмыкали, да и сам я точно не знал, что это и зачем. Как-то пришел соседский парнишка и объяснил: "Это дядю связали, а он вылезал-вылезал и совсем убежал". Я подумал, что малец далеко пойдет и дал ему квотер.

Когда я бываю дома, я подолгу смотрю на "Медитацию" и, кажется, начинаю что-то понимать. Да нет, не в картине, вообще...

Как-то мы компанией поехали в Бостон, Юра - с нами. В Бостоне оказалось очень весело и пьяно. Мы весь день пили холодное итальянское вино и ели устриц в длинных торговых рядах. Ночевали в Кембридже и полночи болтались по пустынному Гарвардскому университету, пили холодное греческое вино, и я почему-то никогда не забуду, как Юра вдруг встал со ступенек библиотеки и закричал что-то длинное, непонятное, нецензурное. Утром мы бродили по океанариуму, тыкались носом в толстые стекла, за которыми проплывали черепахи ростом с баскетболиста. Рыб хотелось отнести домой и вставить в раму. Галецкий говорил, что все, к чертовой матери, зачем рисовать - все равно не переплюнешь.

Потом я увидел графику Галецкого и удивился филигранности работы, верности глаза и точности руки, фантазии и умению. "Рождение бабочки", "Планета Фрейда", "Гомер и Троянский конь", цикл "Троил и Крессида"...

Я думаю, произведение искусства совершеннее и умнее своего создателя. Он всегда мельче того, что делает. Олег Целков охотно говорит о ценах на парижских рынках, Шемякин постоянно изобретает кожаные кепки и побрякушки на кожаную жилетку, Эрнст Неизвестный рас-

сказывает о высокопоставленных друзьях в Москве... Когда же художник пытается объяснить то, что он делает, это выходит либо примитивно, либо темно и запутано. Вряд ли Галецкий отдает себе отчет, ставя бесчисленные точки вокруг бабочкиной ноги, насколько тонко-умна его графика. Да и не надо, наверное...

Познакомившись поближе, Галецкий написал мой портрет. Там, вроде бы, и не я. Огромная шляпа в виде тюрбана, на ней — старательные люди тащат для установки перо. Правая рука опирается на стопку книг, на которые другие работяги вкатывают бочки — видно, с вином. воротник — из книжных страниц. Мимо лица плывет рыба. Где это, спрашивается, он меня такого видел? Но я заметил, что и знакомые стали ко мне как-то уважительнее относиться. Раньше, придя в дом, обязательно по плечу хлопнут, а близкие друзья в живот ткнут кулаком. А теперь, в присутствии портрета — стесняются. А я к нему привык и уже чаще ощущаю себя таким, как там нарисовано...

Сейчас я с Галецким вижу реже, как-то так вышло. На днях встретил — он бороду отращивает. Лето идет. Время бабочек.

еврейская баллада

(ПЕРЕВОД С КИТАЙСКОГО)

Вам эта песня будет, как сюрприз,
она вас развлечет, даю вам слово!
Представьте, как-то в поезде сошлись
один китаец и еврей из Могилева.
Прищурившись от света фонарей,
направив на китайца желтый палец, -
"Скажите, вы еврей?" - спросил еврей.
"Я не еврей, - сказал китаец, - я китаец".
Еврея не смутил такой ответ.
"А может, вы еврей?" - спросил он строго.
Китаец отвечал на это: "Нет,
я не еврей, и прекратите, ради Бога!.."
Еврей потрогал ручку у дверей, -
Упрямый, хоть сажай за это на кол, -
"Но, может, вы еврей?" - спросил еврей.
"Да, я еврей!" - сказал китаец и заплакал.
А поезд мчался к черту на рога,
Из радио летели звуки танца...
Еврей сказал задумчиво: "Ага!
Так почему же вы похожи на китайца?.."

От переводчика. Я старый друг железной колеи, простой командировочный скиталец. Увы, молчат попутчики мои, и мне никто не говорит, что я китаец...

жалобы людоеда

Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь друг друга съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьем,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живем.
Я сам рыдал и плакал,
Когда друзей съедал,
Но между тем, однако,
Обычай соблюдал.
Отца и мать, я помню,
Съел в юные года,
Поэтому я полный
И круглый сирота.
На ветках пальм огромных
Плодов растет не счесть,
А мы должны знакомых,
Родных и близких есть.
Одной и той же пищей
Питаться - наш удел.
И варварский обычай
Нам этот надоел.

1961

ЛИТЕРАТУРА ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗМА

Не так давно, на страницах французского журнала "Экспресс" два здешних интеллектуала - публицист Жан-Франсуа Ревель и один из ярчайших представителей группы так называемых новых философов Бернар-Анри Леви - провели интереснейший разговор о сущности тоталитаризма и о возможностях духовного противостояния его наступательной мощи.

Чтобы заранее определить отправные точки моего сугубо личного взгляда на литературное сопротивление в тоталитарном мире современности, я позволю себе процитировать из упомянутого выше разговора крохотную, но, на мой взгляд, основополагающую его часть:

"Жан-Франсуа Ревель: - Как сопротивление, даже основанное на вере в Бога, может утвердиться при сегодняшних обстоятельствах?

Бернар-Анри Леви: - Я недалеко от мысли, что в настоящее время все более и более углубляется отречение интеллигенции от своих изначальных установок. Констатируя, я могу предложить лишь позицию личного сопротивления. В своей последней книге я постарался опреде-

лить семь конкретных форм сопротивления, составляющих для меня заповеди последовательного антифашизма нашего времени. Они позволяют, как мне кажется, установить и продумать этическую позицию, противостоящую наблюдающемуся отречению интеллигенции от самой себя. Они, например, позволяют утверждать, что правда – вне политических категорий, что нет часа, момента, чтобы ее высказывать, и что надо для того, чтобы ангажировать себя, прежде всего дезангажироваться. Что можно еще делать, нежели упрямо не повторять эти вещи и постараться убедить в них других людей?

Жан-Франсуа Ревель: – Когда вы говорите о невозможности демократии без Бога, когда взываете к Богу как к сопротивлению, когда, цитируя Бердяева, говорите: "Если нет Бога, то нет и Человека", не предлагаете ли вы нам просто-напросто сопротивление мученика?

Бернар-Анри Леви: – Не мученика, а Человека. Ибо Человек немислим вне Бога: исторически зародившийся в нем, возвращаясь к нему, Человек обретает возможность возродиться. Без Закона и без Откровения запрета на убийство нет. Дать основы человеческой нравственности, не ссылаясь на это невозможно. Как показал Клавель, права Человека без Бога, это права мертвого Человека, права человеческого трупа..."

В частных беседах Бернар-Анри Леви признается, что сущность его теперешней философской концепции он извлек из опыта современ-

ного диссидентства в России и Восточной Европе. Так наш горький опыт начинает обогащать западную мысль, расширяя тем самым здесь, на Западе, поле взаимопонимания и взаимодействия с нами, а это, я уверен, многого стоит не только для нас в частности, но и для судьбы демократической цивилизации в целом.

Но если бы молодой философ рассматривал проблему тоталитаризма изнутри, то есть не с точки зрения вдумчивого, но все же наблюдателя, а как объект насилия, он смог бы убедиться, что существует великое множество (куда более семи) форм духовного сопротивления этой бесчеловечной структуре.

К сожалению, сегодня у нас с вами нет ни времени, ни возможности, чтобы хотя бы бегло коснуться здесь этих форм, поэтому я ограничу свою задачу посильным образом наиболее близкой мне формы оппозиции — оппозиции литературной.

Когда в начале шестидесятых годов в русской культуре возникло так называемое явление Солженицына, многие в современном мире восприняли этот феномен как чудо. Но для внимательного наблюдателя последнего полувека нашей отечественной словесности это явилось лишь закономерным следствием ее изначального процесса. Явление такого порядка, как Солженицын, было бы невысказано вне общего контекста литературного противостояния диктатуре, начиная чуть ли не с первых лет после Октябрьского переворота.

Это сопротивление ведет свою родословную от расстрелянного Гумилева, через замолчанного Булгакова, замученного в концлагере Мандельштама, затравленных Зощенко и Ахматову к затравленному же Пастернаку, и, наконец, до выброшенного из страны Солженицына. Я называю только вершины этого Сопротивления, у подножья которых теснились целые когорты непокорившихся диктату художников от Юрия Олеши до Юрия Домбровского включительно.

Все они, вместе взятые, не составляли собою никакой профессиональной или организационной структуры, любая такая структура была бы мгновенно раздавлена самым жесточайшим образом. Дело и творчество каждого из них являлось результатом его сугубо личного, духовного решения, но собранные историей воедино, они оказались той непреодолимой силой, благодаря которой наша литература не только выстояла под тотальным прессом диктатуры, не только сохранила непрерывность живой нити литературного процесса, но в конце концов заявила себя сегодня во всем блеске мирового признания.

Согласитесь, что новейшая история не знает примера, когда литература, причем, в, так сказать, подпольном ее оформлении, числила бы в своих рядах двух нобелевских лауреатов.

Большая русская поэтесса Наталья Горбаневская, привлеченная к суду за участие в демонстрации на Красной площади, на вопрос следо-

вателя, какие мотивы побудили ее присоединиться к демонстрантам, ответила:

- Я сделала это для себя, иначе я не смогла бы жить дальше.

Только это, одно только это и ничего более движет сегодня нашей литературой Соппротивления: Лидией Чуковской, Владимиром Войновичем, Георгием Владимовым, Львом Копелевым, Владимиром Корниловым, Венедиктом Ерофеевым и множеством других, еще безымянных, но уже сделавших выбор. "Теперь не они нас, - говорит Георгий Владимов, - а мы их исключаем из своего Союза, Союза подлинных писателей".

Сейчас русская литература переживает в своем развитии новый поворот: часть писателей (как уже было однажды, но в совершенно иных условиях) во главе со своими бесспорными лидерами Александром Солженицыным и Иосифом Бродским оказалась за рубежом. И снова, как это было на родине, наше духовное самосохранение, неистребимость нашей связи со средой, которая нас из себя выделила, наша принадлежность к отечественной культуре зависит сейчас не от некоей политической или организационной сплоченности, а прежде всего от личной, индивидуальной воли каждого из нас к духовному и человеческому Соппротивлению.

Но являясь эмиграцией литературной, духовной, культурной, назовите, как хотите, мы, тем не менее, желаем мы того или не желаем, являемся для окружающих также, если не в первую

очередь, эмиграцией политической, что в свою очередь ставит перед нами проблему гражданского существования за пределами своей страны.

"Мы не в изгнании, мы - в послании", - сказала как-то большая русская поэтесса, и в том, как каждый из нас понимает это самое "послание", заключено зерно внутреннего, а подчас и внешнего конфликта в нашей среде.

В связи с этим мне вспоминается литературный симпозиум в Венеции, где за одним столом хозяева собрали писателей-диссидентов и диссидентов, написавших книги, и все это в целом называлось "диссидентская литература". По этому поводу в своем выступлении покойный Александр Галич не без горечи говорил в те дни: - Если мы не договоримся о терминах, мы никогда не поймем друг друга. Поверьте, я всегда, к примеру, с благоговением относился к памяти трагически жившей и трагически погибшей Анны Франк. Ее дневник всегда был моей настольной книгой. Но все-таки, когда я вспоминаю те годы немецкой литературы, мне на память прежде всего приходит не она, а Томас Манн. Я согласен, что существует диссидентская литература, и ко многим ее представителям я отношусь с восхищением и полнейшей солидарностью, но ведь существует еще просто литература, плохая или хорошая, и о ней, этой литературе, я не слышу почему-то на этом литературном симпозиуме почти ни слова...

Разумеется, мне могут возразить: какие, мол, могут быть счеты, все мы, мол, делаем одно дело, и если оно – это дело победит, тогда и придет время определять, кто есть кто? Это справедливо только на первый взгляд, ибо если, в борении скоропреходящих политических страстей литература утерять свои качественные критерии, она постепенно переродится в свою полную противоположность, то есть в скользкую политическую игру, а это грозит ей гибелью и забвением. Литература сама по себе в личном творческом акте художника способна противопоставить себя тоталитаризму и, в конечном счете, внутренне преодолеть его.

Противостояние диктатуре в России начиналось с мучеников – одиночек, но их влияние на последующие литературные поколения оказалось настолько духовно радиоактивным, что в результате в нашей стране сложился, если так можно выразиться, генетический тип писателя, который противостоит насилию не потому что сознательно выполняет героическую миссию, а потому, что иначе он просто не мог бы жить, ибо хочет остаться Человеком.

В номере:

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО.....	3
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ-Стихотворения.....	5
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР-Полемика.....	12
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ	
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ - Дерзкий гость, рассказ.	20
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ - Стихотворения.....	25
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ - Солдаты на Невском рассказ.....	30
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР - Из цикла "Натали" стихотворения.....	52
АРКАДИЙ РОВНЕР - Розы Щербунчика.....	59
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	
Нонконформисты на Западе и дома От редакции.....	67
А. ГЛЕЗЕР - Биеннале русской графики....	69
АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ - Художник - философ Владимир Янкилевский..	73
В МУЗЕЯХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА.....	78
НАШИ ГОСТИ, АЛЬМАНАХ "ЧАСТЬ РЕЧИ"	
ИОСИФ БРОДСКИЙ - Полярный исследователь..	85
АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ - Памяти водки.....	86
ГЕННАДИЙ ШМАКОВ - Барышников начинался так... ..	88
"НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ"	
АНДРЕЙ ДВИНСКИЙ - Время бабочек.....	94

НАУМ САГАЛОВСКИЙ - Еврейская баллада.....	98
ВЛАДИМИР УФЛЯНД - Жалобы людоеда	99
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ - Литература против тоталитаризма.....	100



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

Вышел из печати
и поступил в продажу

Литературно-художественный альманах

ЧАСТЬ РЕЧИ

№ 1

ИОСИФ БРОДСКИЙ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПОЭЗИИ. И. Бродский — *Новые стихи из цикла «Часть речи»*. И. Бродский — Ленинград. Эссе. Соломон Волков — *Нью Йорк: пейзаж поэта*. Интервью с И. Бродским. Ефим Эткинд — *«Взять нотой выше, идеей выше...»*. Алексéй Лосев — *Английский Бродский*. Роберт Сильвестер — *Остановившийся в пустыне*. Алексис Раннит — *Заметки о России и Иосифе Бродском*.

ПОЭЗИЯ. Генрих Сапгир — *Элегии*. Владимир Уфлянд — *Стихи*. Алексéй Лосев — *Памяти водки*. Евгений Рейн — *Стихи о Москве*. Константин Кавафи — *Стихи* в переводе с греческого Г. Шмакова.

СТИХИ М. Цветаевой, М. Кузмина, А. Николева.

ПРОЗА. Юз Алешковский — *Два показания*. Отрывок, из романа «Рука». Сергей Довлатов — *Чья-то смерть и другие заботы*. Рассказ. Людмила Штерн — *Верите ли вы в чудеса?* Рассказ.

Владислав Ходасевич — *Жизнь Василия Травникова*. Владимир Набоков — *Случайность*.

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ. Петр Вайль, Александр Генис — *Литературные мечтания*. Очерк русской прозы с картинками.

ИСКУССТВО. Геннадий Шмаков — *Барышников начинался так...* М. Ларионов и Н. Гончарова в письмах и рисунках.

ВОСПОМИНАНИЯ. Ольга Ваксель — *О Мандельштаме*. С. Полянина — *Об О. Ваксель*. Нина Берберова — «Железная женщина» (фрагмент из книги). О Муре Будберг. Татьяна Яковлева-Либерман — «С бровью брови» (фрагмент из книги).

АРХИВ. Письма В. Ходасевича М. Фроману.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ.

Альманах богато иллюстрирован
рисунками и фотографиями.

Редактор-издатель альманаха — ГРИГОРИЙ ПОЛЯК.

Заказы и чеки направлять:

SILVER AGE PUBLISHING

P. O. Box 384. Rego Park. N. Y. 11374.

Справки по тел.: (212) 897-6938.

Цена отдельного номера — \$12.50

плюс 1 долл. на пересылку.

две просьбы

*М. Шемякину - другу и брату
- посвящен сей полуэкспромт*

1. Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я
Гоню их прочь, стеная и браня,
Но вместо них я вижу виночерпия,
Он шепчет: "Выход есть, к исходу дня
- Вина! И прекратится толкотня,
Виденья схлынут, сердце и предсердие
Отпустит и расплавится броня!"
Я - снова - Я, и Вы теперь мне верьте, я
Немногого прошу взамен бессмертья, -
Широкий тракт, холст, друга да коня
Прошу покорно, голову склоня.
Побойтесь Бога, если не меня, -
Не плачьте вслед, во имя Милосердия!
2. Что Фауста ли, Дориана Грея ли,
Но чтобы душу - дьяволу - ни, ни!
Зачем цыганки мне гадать затеяли?
День смерти уточнили мне они...
Ты эту дату, Боже сохрани, -
Не отмечай в своем календаре, или
В последний миг возьми да измени,
Что б я не ждал, что б вороны не реяли
И что бы агнцы жалобно не блеяли.
Чтоб люди не хихикали в тени
От них от всех, о Боже, охрани
Скорее, ибо душу мне они
Сомненьями и страхами засеяли.

Париж, 1 июня 1980